



Александр
Каневский

Смейся,
Пац!

Александр Семёнович Каневский

Смейся, паяц!

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6371206
Смейся, паяц!:

Аннотация

Александр Каневский – замечательный, широко известный прозаик и сценарист, драматург, юморист, сатирик. Во всех этих жанрах он проявил себя истинным мастером слова, умеющим уникально, следуя реалиям жизни, сочетать веселое и горестное, глубокие раздумья над смыслом бытия и умную шутку. Да и в самой действительности смех и слезы существуют не вдали друг от друга, а почти в каждой судьбе словно бы тесно соседствуют, постоянно перемежаются. В повествовании «Смейся, паяц!..» писателю удалось с покоряющей достоверностью воссоздать Времена и Эпохи, сквозь которые прошел он сам, его семья, близкие его друзья, среди которых много личностей поистине выдающихся, знаменитых.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПРОЛОГ	7
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО – Я!	9
А У НАС ВО ДВОРЕ...	21
ЛЮБИМОЕ ЧАДО	25
ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД	35
УРА! МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ	42
А ТЕПЕРЬ – О МОЕЙ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ	54
ЛЁВА+ЛЮБА	59
МОЯ САМАЯ, САМАЯ МАМА	68
ХОРОШИЙ МОЙ ПАПА	78
УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВЫЕ МОИ. И УЧИТЕЛЯ	87
ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!	105
БРАТ МОЙ – ДРУГ МОЙ	117
КАК НА ЧЬИ-ТО ИМЕНИНЫ ИСПЕКЛИ МЫ КАРАВАЙ	125
МУСТАНГЕРЫ НА КРЕЩАТИКЕ	131
КАК Я ТЕРЯЛ НЕВИННОСТЬ	138
Конец ознакомительного фрагмента.	142

Александр Каневский

Смейся, паяц!

© Александр Каневский. 2005

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самые значительные произведения это, на мой взгляд, те, которые хочется не только прочитать, но потом и не раз перечитывать.

Я имел радость приобщиться к повествованию Александра Каневского, когда оно ещё было рукописью, а сейчас вновь увлечённо, с большим удовольствием, приобщаюсь к нему, когда оно уже стало книгой.

Александр Каневский – замечательный, широко известный прозаик и сценарист, драматург, юморист, сатирик. Во всех этих жанрах он проявил себя истинным Мастером слова, умеющим уникально, следуя реалиям жизни, сочетать весёлое и горестное, глубокие раздумья над смыслом бытия и умную шутку. Да и в самой действительности смех и слёзы существуют не вдали друг от друга, а почти в каждой судьбе словно бы тесно соседствуют, постоянно перемежаются. Так и в книге, коя теперь перед вами, дорогой друг-читатель...

Уж который раз вспоминаю утверждение Льва Толстого, что главное в литературе – это воссоздание характеров человеческих, ибо только через них, людские характеры, можно воспроизвести характеры Вреён и Эпох.

Вот и в повествовании «Смейся, паяц!..» писателю удалось с покоряющей достоверностью воссоздать Времена и

Эпохи, сквозь которые прошёл он сам, его семья, близкие его друзья, среди которых много личностей поистине выдающихся, знаменитых.

Впрочем, подробно пересказывать талантливое, столь впечатляющее произведение нельзя: в него поклонники литературы должны сами вникнуть, погрузиться душой и мыслью. Я искренне завидую тем, кто впервые встретится с повествованием Александра Каневского. «Смейся, паяц!..», плачь и ликуй!.. Дари читателю желание не расставаться с тобой... Уверен, что так оно и будет!

Анатолий АЛЕКСИН,
Лауреат Международных премий,
Государственных премий СССР и России,
премии Федерации Союзов писателей государства Израиль.

«Выполнена ли твоя функция в этой жизни?
Если ты жив – нет»
(Ричард Бах)

ПРОЛОГ

В июне 2001 года в Киеве проходили мои творческие вечера. После первого выступления ко мне за кулисы пришли мои однокашники по школе, по институту, по юности. Я повез всех к себе в гостиницу, заказал пару бутылок коньяка, и мы хорошо посидели и повспоминали.

С первым тостом прорвался Олег Востоков (о нем я еще расскажу подробнее). Он сказал:

– Давайте выпьем за двух великих эсенин, которыми я всегда восхищался и пред которыми преклонялся – это Сашина мама, Ида Львовна, и Сашина жена, Майя. Они, как два крыла, помогли ему высоко взлететь. Мама подарила ему огромный запас оптимизма, веру в свои силы и великое умение радоваться жизни. Майя окружила его заботой и нежностью, дала возможность постоянно чувствовать себя любимым, великим, единственным. Она его добрый ангел, охраняющий от всех бед. Давайте выпьем за светлую память Иды Львовны и за здоровье и долгую жизнь Майечки!..

Через неделю ко мне прилетела Майя. Мы вместе поехали в Москву, порадовались встречам с дочкой, с внуками, с друзьями, а дальше... дальше кошмарный сон, вспышки в моем сознании: инфаркт, скорая, больница, сообщение о смерти, она в гробу, самолет, в котором мы впервые летим в разных отсеках; тель-авивский аэропорт «Бен Гурион», кладбище,

масса людей, молитва рава, речи, плач, холмик земли, заваленный цветами; семь дней «шивы», когда сквозь квартиру прошло несколько сот рыдающих друзей, родственников, соседей, ее сослуживцев, ее учениц... И, наконец, опустевшие комнаты, кот Гоша, мяукающий у ее портрета, и я, оглушенный и растерянный, переосмысливающий свою жизнь...

Господи!.. Сколько недосказал, недодал, недоделал!.. Сколько обижал, сколько ранил, сколько принес боли и огорчений самым дорогим, самым любящим меня людям!.. Господи! Пожалуйста, сотвори чудо, верни их хоть не надолго, хоть на чуть-чуть, чтобы я успел попросить прощения, успел сказать, что многое только сейчас понял, что виноват, что никогда себе не прощу... Господи, я знаю, что это невозможно, но как же тогда мне жить дальше? Как?.. Земля уходит из-под ног – только теперь я почувствовал, что она возвращается... Мама! Как ты сейчас мне нужна! Только ты смогла бы помочь мне выплакать мое горе. Но тебя уже давно нет на Земле. А сейчас нет и Майи. А я оставлен жить. Зачем? Что я еще не доделал?.. Деревья сажал, детей вырастил, книги написал... Но почему же такая кричащая боль в душе: все надо было не так, совсем не так, по-иному... Эх, если бы начать все сначала. Но и это невозможно: жизнь – не черновик, ее не перепишешь!..

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО – Я!

Когда нянечка родильного дома первый раз вынесла меня в приемный покой, чтобы показать родственникам, моя экзальтированная тетя Софа издала такой крик, что младенцы, которые только-только появились на свет, с перепугу нырнули обратно.

Мою тетю можно было понять: у меня были огромные круглые глаза, которые занимали половину лица и никогда не закрывались, даже во сне, потому что на такие глаза никаких век не хватало.

Но это воспоминания моих родителей, а не мои. Мои же воспоминания начинаются с улицы Горовица (ныне Большая Житомирская), дом 19, где жила наша семья: папа, мама, бабушка, дедушка и я. Наш дом соседствовал с красивым необычным зданием кирпичного цвета. Это был первый в Киеве жилищный кооператив – Дом врачей. Все самые известные врачи города жили в этом доме, половина из них были детскими врачами, поэтому все они, не переставая, лечили меня. Я был болезненным и капризным ребенком, поэтому врачей приглашали ежедневно, естественно, за немалые гонорары. Половину жизни они провели у нас. Я уверен, что наша семья выплатила всем им все деньги, потраченные на покупку их квартир.

Годы шли, деньги тратились, здоровье не прибавлялось. Я

был любознательным ребенком, поэтому познал все болезни: коклюш, скарлатину, корь, свинку, воспаление легких, дизентерию... Не говоря уже о длинных зеленых соплях, которые при малейшей простуде выстреливали из носа, как из дустволки, находясь всегда в постоянной боевой готовности. Кроме того, в носу у меня были вечно воспаленные аденоиды, таких огромных размеров, что удалить их можно было только вместе с носом. Если бы это произошло, я бы потеряю носа даже не ощутил, потому что никогда им не дышал. Но мама решила мне его сохранить для красоты.

Нос рос вместе с аденоидами, и я его хорошо использовал. Обычно, когда ребенок падает, он выставляет вперед руки, чтобы смягчить удар. Я же наоборот, прятал руки за спину и приземлялся на три точки: на нос и на колени. Нос у меня постоянно был опухшим и синим, а колени красными от йода. С тех пор я любил эти цвета на всю жизнь.



«ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ЭТО - Я».

Время шло, мои родители продолжали материально поддерживать всех врачей нашего города. Однажды мама повела меня к самому известному педиатру профессору Сегалу. Помимо того, что он был прекрасным специалистом, он еще славился в Киеве как известный остроумец. Когда меня привели к нему, я был в мохнатой меховой шубке, в меховой шапке и поверх всего обмотан шерстяным шарфом.

– Кто это его так одел? – спросил профессор.

– Бабушка, – ответила мама, – чтоб не простудился.

– Скажите, у вас есть люстра?

– Есть.

– Она висит на крючке?

– Да.

– Так вот, когда вернетесь домой, снимите люстру, а на крючок повесьте бабушку.

Выслушав рекомендацию Сегала, папа очень его зауважал и заявил, что советы такого специалиста надо выполнять. Но тремя голосами против одного семья приняла половинчатое решение: бабушку не вешать, но кутать меня прекратить. После этого я, действительно, болеть стал реже, хотя план по болезням все равно добросовестно выполнял.

Главным курирующим меня врачом был доктор Цвиткис, маленький шарообразный человечек, который и зимой и летом носил пиджак с теплой жилеткой. Из-под жилетки выглядывала золотая цепочка от часов, которые прятались в карманчике брюк. В руках у него всегда был толстый порт-

фель, набитый всякими лекарствами. С тех пор этот образ человека в жилетке, с портфелем и цепочкой на животе, остался в моем сознании, как символ пожилого благополучия. А поскольку я всю жизнь был мальчишкой и очень боялся стать взрослым и солидным, поэтому по сей день, покупая костюм-тройку, я тут же выбрасываю жилетку, карманных часов с цепочкой не ношу и ненавижу портфели.

Доктор Цвиткис страдал от хронических запоров. Запоры были настолько непробиваемые, что в туалет он ходил со штопором. Поэтому боготворил моего папу, который снабжал его черносливами – тогда они были в дефиците. А папе их присылали с Кавказа в любом количестве. В благодарность доктор Цвиткис выписывал мне в два раза больше лекарств, чем положено. Кроме лекарств доктор Цвиткис пожизненно прописал мне куриный бульон, как можно больше и пожирней. Меня поили бульоном утром, днем и вечером, мне вливали его во все отверстия, даже клизмы делали из бульона. На моей совести столько сваренных для меня кур, что я до сих пор не могу им смотреть в глаза.



Папа долго жил на Кавказе и имел там много друзей. Я помню постоянно раздвинутый стол, за которым сидят усатые, черноволосые мужчины, пьют вино, поют красивые песни и с криками «Асса!» танцуют лезгинку, иногда даже на столе, между тарелками.

Раз в две недели, а то и чаще, папа получал посылку из Тбилиси, или из Кутаиси, или из Сухуми. В ящике находились две-три бутылки вина, засыпанные орешками, но без фамилии отправителя. «Кто-то едет!» говорил папа, и через день-два в квартиру вваливалась компания грузин, армян или абхазов, раздвигался стол, и начиналось шумное южное веселье. Я помню, как к моему ужасу и восхищению, один из гостей, огромный бритоголовый, зажал зубами стол и поднял его вместе с тарелками и бутылками. Когда спустя много лет я напомнил папе этот эпизод, папа гордо воскликнул: «Это Гоги, он это мог. Сейчас уже таких нет» И грустно повторил: «Нет!».

Когда меня, уже взрослого, спрашивали: «Как ты не усташь каждый вечер принимать гостей?». Я отвечал: «У меня очень загульные гены».

Папа и мама обожали застолья. Помимо гостей с Кавказа у нас постоянно гуляли киевские друзья, большинство из них – актеры театра «Красной Армии», во главе с моим двоюродным дядей Анатолием Каневским, большим обаятельным хулиганом, с точеным профилем и густым обволакива-

ющим басом.

– Дядя Толя, ваша лысина растет и растет, – заводил его я.

– Неправда, – парировал он, – она уже дошла до жопы и остановилась.

Папа работал в трех местах и зарабатывал довольно много, но это – для нормальной семьи. А при нашем образе жизни, конечно, денег не хватало. Тогда мама брала свою, по тем временам, роскошную супермодную котиковую шубу, несла ее в ломбард, получала деньги, и гулянки продолжались. Когда папа приносил очередную зарплату, мама шла в ломбард и выкупала шубу. Шуба-кормилица циркулировала из ломбарда домой и обратно в ломбард – там ее уже знали, ждали и встречали, как дорогую гостью.

В нашем доме была коридорная система: на каждом этаже – длинный коридор, вдоль которого, справа и слева, открывались и закрывались двери, ведущие в маленькие или большие комнаты. В каждой комнате жила одна, а то и две семьи. В конце коридора был туалет и общая кухня, в которой шипели друг на друга десятки примусов. На них жарились, варились, парились котлеты, борщи и компоты. Кухня была местом встреч, бесед, скандалов и объятий – этакое новгородское вече.



По утрам у туалета выстраивалась большая шумная оче-

редь, все нервничали, все опаздывали на работу, все нетерпеливо перепрыгивали с ноги на ногу и дружно ругали счастливого, завладевшего унитазом. («Что он там газету читает?»... «Если у тебя запор – становись последним!»...). Я уверен, что танец чечетка зародился у этого туалета.

Наша семья считалась преуспевающей: у нас были две комнаты, в девичестве – одна, разделенная перегородкой. В маленькой комнатке жили дедушка Лева и бабушка Люба. Большую, проходную комнату они отдали маме и папе после их свадьбы. Кроме того, у нас еще была своя маленькая кухонька и (даже страшно произнести, потому что это была уже вызывающая роскошь) свой микротуалет, в который входить можно было только боком и там, уже внутри, разворачиваться в исходное положение. И кухня и туалет были перестроены из какого-то темного чулана, но все равно мы считались очень богатой семьей, потому что обладали собственным унитазом!

Напротив нашей двери была комнатенка площадью два метра на полтора, в которой жила бабушка Цирл. Поскольку там помешалась только раскладушка, то бабушка Цирл вела лежачий образ жизни и постоянно спала. Когда вся наша семья уходила к кому-нибудь в гости, раскладушку со спящей бабушкой Цирл перетаскивали под нашу дверь, и она продолжала спать уже в коридоре, преграждая доступ в нашу квартиру. Тем самым мы поддерживали свою репутацию богатеев. Это привело к тому, что нас попытались ограбить.

Охотились, в основном, за маминой шубой, но вора́м не повезло. Они проникли в дом после очередной вечеринки, шуба в это время отлёживалась в ломбарде, квартира была заполнена пустыми бутылками, а в бабушкиной и дедушкиной комнате отдыхали наши гости – два огромных волосатых грузина, которые, к ужасу воров, вдруг появились, как два восточных джина.

– Заходите, гости дорогие.

– Мы... Мы... Мы случайно... Мы заблудились... – испуганно промычали «гости» и стали пятиться к дверям. У одного из них в руках была первая добыча: два хрустальных фужера, захваченных со стола.

– Выпить хотят, – догадались грузины, достали начатую бутылку, наполнили фужеры вином, и «гостям» и себе, чокнулись и произнесли:

– За знакомство!

Воры поспешно влили в себя вино и вылетели в дверь. Очевидно, они рассказали об этом всем своим коллегам, потому что с тех пор нас уже никто не пытался ограбить. Но все равно бабушка Цирл периодически лежала на своем боевом посту под нашей дверью.

Наши окна выходили во двор, и папа решил расширить площадь квартиры за счет пристройки балкона. Он договорился в архитектурном управлении, привел двух рабочих, и уже через неделю состоялась «премьера»: вся семья пила чай на новом балконе. Балкон был небольшой: три метра в дли-

ну, полтора – в ширину, но все равно это было еще одной демонстрацией нашего благополучия – все соседи подсчитывали, во сколько нам это строительство обошлось, и охали от своих предположений.

Появление балкона нанесло удар по моим гуляниям. Меня и так редко выводили во двор: там нехорошие мальчики, они ругаются и дерутся... Но поскольку ребенку положено дышать воздухом, меня вынуждены были выпускать на волю с десятками предупреждений, как там себя вести. Выходил я, конвоируемый бабушкой или мамой, шаг влево, шаг вправо – считался побегом, и меня немедленно возвращали домой. Но когда появился балкон, даже эти минипрогулки прогулки стали реже – ведь дышать воздухом можно и на балконе. А чтобы я не перевернулся через перила, папа каждый год, по мере моего вырастания, наращивал их высоту, прибывая к стойкам все новые и новые доски. Постепенно балкон превратился в колодец, и видеть двор я мог уже только сквозь щели между досками.

А У НАС ВО ДВОРЕ...

Наш двор состоял из большого двора и малого, называемого «второй». Во второй двор можно было попасть через узкий перешеек между домами. Там был пионерский форпост. Что такое форпост никто не знал, но это название притягивало меня, как магнит. Но попасть туда было не так просто: в перешейке постоянно дежурили пионеры и пионерки в красных галстуках – они пропускали только себе подобных. Я был пока еще октябренок, поэтому пройти не мог: кошек, собак и октябрят туда не пропускали. И только когда я устроил по этому поводу страшную истерику и пустил в дело свой «соплемёт», мама с кем-то переговорила и мне разрешили пройти в святая святых. Загадочный второй двор был величиной в кузов среднего грузовика. В нем с трудом помещалось какое-то сооружение, похожее на мусорный ящик, поставленный «на попа». Это и был таинственный пионерский форпост. В нем помещались не более трех человек, при условии, что они плотно прижмутся друг к другу и станут сплоченными пионерами. Что делать в этом форпосте, для чего его поставили – этого не знал никто, но пионеры гордились им и продолжали с утра до вечера нести почетное дежурство.



ДВОРНИК ВАНЯ

В первом дворе, в подвале, проживала Клавдия Ивановна, сестра известнейшей оперной певицы Литвиненко-Вольгемут. Она была портнихой. Шила плохо, но дворовые модницы стояли к ней в очереди, потому что информация о том, что им шила сестра великой актрисы, вызывала огромное

уважение окружающих.

В другом подвале, напротив, жил одинокий дворник Ваня. Зимой он ходил в замасленной телогрейке, летом – в рубашке из мешка: прорезал в мешке дыры для головы и для рук – получилась безрукавка, которую он подпоясывал веревкой. У него в комнате стояли козлы, он всё время пилил и рубал: дрова, доски, собственную мебель. Во двор выходил всегда с топором. Когда подметал, топор торчал у него за поясом. И в магазин он шел всегда с топором, и в поликлинику. Мы, дети, подсмотрели, что он не пользуется ножом: и хлеб и колбасу он не нарезал, а отрубал. На лице у него торчала неопрятная, клочковатая щетина – очевидно, он и брился топором.

На втором этаже, под нами, жила семья скрипача Горелика. Он работал в оркестре театра оперетты, днем уходил на репетиции, а вечерами – на спектакли, поэтому уже с утра надевал свою «рабочую» форму: смокинг и бабочку – в ней ходил в туалет, стоял в очереди в магазине, гулял по двору. Особенно эффектно он смотрелся рядом с дворником Ваней.

Несмотря на занятость в оркестре, Горелик успевал делать детей, их у него было шестеро, мал мала меньше. Каждый день его постоянно беременная жена Лиза протискивалась в окно и взывала на весь двор: «Ромка, Янка, Борька, Фирка, Нинка, Тамарка – обедать!..» Когда в доме бывало что-то вкусное, она конкретизировала свой призыв: «Ромка, Янка,

Борька, Фирка, Нинка, Тамарка, идите кушать жареную курицу, оладьи со сметаной и компот из вишен!..». Названия блюд она выкрикивала по несколько раз, чтобы не осталось ни одного соседа, кто бы не услышал и не позавидовал такому изобилию. Причем, кричала так громко, будто у неё начались преждевременные роды.

Перед окнами Клавдии Ивановны росла шелковица. Она была не просто деревом, а испытательным полигоном ловкости и отваги для всех дворовых мальчишек: требовалось взобраться на самую вершину и сорвать там хотя бы несколько сладких ягод. Все наши пацаны уже побывали на ней, и не единожды, а меня, конечно, не пускали. Но однажды, когда бабушка на минутку отвернулась, заговорившись с соседкой, я подбежал к шелковице и пулей взобрался на неё. Пулей – это мне так показалось, на самом деле я полз со скоростью контуженого червяка, но всё-таки добрался до первой ветки. Тут раздались испуганные крики моей бабушки, которая стала трясти дерево, чтобы заставить меня немедленно спуститься. Ей это удалось, и я тут же приземлился на уже апробированные три точки, после чего недели две мои колени были красного цвета, а нос – синий и опухший. Сейчас я понимаю, что величина моего носа – результат непрерывных падений: опухоли не успевали рассасываться, им приходилось твердеть и увеличивать размер носа.

ЛЮБИМОЕ ЧАДО

Как я уже сообщил, я рос единственным ребенком у четырёх нянек, поэтому, естественно, был избалованным и капризным. Чтобы меня покормить, семья устраивала театрализованное представление: мама садилась к пианино и играла какой-нибудь марш; дедушка надевал на голову кастрюлю и стучал по ней, как по барабану, в ритме маминого марша; папа опускался на четвереньки, сажал меня на спину и, изображая лошадь, взбрыкивал задними ногами; бабушка бежала рядом с ложкой манной каши, которую периодически впикивала мне в рот, а я тут же её выплёвывал на гриву своего коня. Манную кашу мне готовили с маслом, мёдом, вареньем, орехами, изюмом... Когда я вырос, я стал есть всё без разбора: варёное, жареное, пареное... Я ем так истово и заразительно, что напротив меня всегда сажают людей с плохим аппетитом и через пять минут они уже уплетают за обе щеки. Таким же аппетитом обладал и мой младший брат Лёня. В молодости, на вечеринках, когда мы сидели за столом рядом, постепенно все блюда и бутылки перемещались в нашу сторону и быстро опустошались – нас называли «братская могила». По сей день я ем всё, даже куриный бульон (Светла память доктору Цвиткису!). И только одно блюдо не беру в рот, не могу, даже под дулом пистолета – это манную кашу: накормили на всю жизнь! Для того чтобы чего-то добиться, я

выработал специальную методику: когда, проходя по улице, видел в витрине что-нибудь привлекающее меня, останавливался, указывал пальцем и требовал: Купи! – Некогда, потом купим, – отговаривали меня.

– Купи, – повторял я уже угрожающе и с плачем бросался на тротуар. Точнее, это был не плач, а хорошо отработанный вой, громкий, пронзительный, что-то вроде сирены воздушной тревоги, только более мерзкий. Кроме того, лёжа на животе, я выстреливал из носа две зелёные сопли, своё самое действенное оружие (Сопли и вопли – это, наверное, про меня.) При этом одет я был очень изысканно: штанишки и жилетка из чёрного бархата, под жилеткой – ослепительно белая шёлковая рубашка с пышным жабо, на шее – большой белый бант, на ногах – белые шикарные лаковые туфли с чёрным кантом (когда Красная Армия «освобождала» Польшу, дядя Толя вместе с театром тоже был там, освободил Польшу от этих туфель и привёз их мне), на голове – чёрный берет, под беретом – огромные чёрные глаза. Конечно, я привлекал внимание прохожих, особенно, когда во всём этом одеянии бросался на тротуар с воплем «Купи!». Собиралась толпа, давались педагогические советы.



— КУПИ!

Если со мной были дедушка, бабушка или папа, они немедленно покупали всё требуемое. Если была и мама – она затаскивала меня в ближайший подъезд и шлёпала по попе, отчего я выл ещё громче. В подъезд врывались дедушка с бабушкой и с криками «Бандитка! Ты же убьёшь его!», отбирали меня у мамы, отводили домой, в свою комнату, и всячески успокаивали. Я затихал, но стоило маме вернуться, я снова становился сиреной, причём, выл ещё громче, чтобы было хорошо слышно в соседней комнате, то есть, я выл пер-

сонально маме. Этим оружием я пользовался довольно долго, до рождения брата Лёни. Но об этом позже.

Больше всего я любил гулять отдельно с папой. Это выразалось в том, что гулял папа, а я сидел у него на плечах. Папа обычно шёл на какую-нибудь деловую встречу, с ним рядом шагали один или два его сослуживца, и меня очень радовало, что папа со мной на плечах шагал так быстро, что его спутникам приходилось бежать вприпрыжку, догоняя нас. К папе часто приходили сотрудники, их было много, но я запомнил двоих, потому что они всегда приносили мне подарки: один – книги, другой – пирожные. Я с нетерпением ждал прихода каждого из них, но особенно любил, когда они являлись одновременно.

Читать я стал очень рано, с пяти лет. Читал всё подряд: книги, журналы, газеты, справки, квитанции, что попадалось под руку. Со временем я стал сам активно добывать книги, особенно, в эвакуации, когда книг было мало, мы обменивались друг с другом. Читал запойно, в день по две книги, а ночью, с фонариком под одеялом – третью. Я благодарен судьбе за это увлечение, ибо при хваткой детской и подростковой памяти прочитанные тогда книги вошли в мой духовный багаж на всю жизнь. Когда в школе начинали «проходить» очередного писателя, учителя поднимали меня, и я на память шпарил и стихи, и прозу.

В нашей семье работали все, кроме бабушки Любы – она вела хозяйство и пасла меня. Но она часто болела, лежала

в больницах, и тогда за мной смотреть было некому. Вот и решено было на семейном совете отдать меня в детский сад. О том, как я воспринял это решение, рассказывать не буду – не хватит ни словарного, ни эмоционального запаса. Могу только сказать, что когда меня по утрам волокли в садик, мой рёв слышали не только в нашем квартале, но и на соседних улицах, он доносился даже до Крещатика. В Киеве стало намного меньше опозданий – я устраивал побудку половине города.

Меня водили в очень хороший садик, не знаю, почему я его так ненавидел. Подозреваю, что это был подсознательный протест против стадности: на прогулку водят парами, укладывая спать, надевают одинаковые ночные рубашки, одновременный подъём, одновременная еда... Этот протест сохранился во мне и крепчал с годами: я убежал из пионерских лагерей, я до сих пор не хожу на организованные экскурсии...

В детском саду впервые проявилась моя склонность к лидерству. Я знал на память все детские сказки и стихотворения и, когда воспитательница начинала читать про репку, я, опережая её, уже рассказывал про мышку. Я устраивал «конкурентные» чтения, шпарил на память «Мистера-Твистера», «Дядю Стёпу», «Илью Муромца», отвлекая детей от «запланированных мероприятий». Через самое короткое время я стал заметной политической фигурой в детском садике, сколотил свою команду и назначил себя Чапаевым. Анкой-пуле-

мётчицей была девочка Ляля в белой мохнатой шубке и вязаной шапочке с бомбоном, а Петькой – Марик Кудло, самый маленький мальчуган, но самый активный и энергичный. Нашей политической программой было – бить баб. Мы натягивали скакалку поперёк аллеи, низко у земли, и с воплями и гиканьем, гнали туда толпу девочек, которые спотыкались о скакалку и валились на землю. Мы, торжествуя, прыгали вокруг поверженных и кричали «Да здравствует революция!».

Когда за мной приходил папа, сбегались все воспитательницы и наперебой жаловались ему на моё поведение. Папа слушал, вздыхал и говорил: «Боже мой, какой это страшный признак: я их тоже в детстве бил». Папа нравился женщинам, поэтому каждая воспитательница старалась отеснить его в сторону и интимно поведать дополнительные подробности моего хулиганского поведения. Поскольку все воспитательницы были молодыми и симпатичными, папа начал задерживаться в садике. Тогда за мной стала приходиться мама.

Когда мне было шесть лет, родился Лёня. Он был младшим в семье и, естественно, всё внимание переключилось на него. По рекомендации доктора Цвиткиса, который Лёне достался по наследству, его кормили сухариками, размоченными в сладком чае. Я ужасно ревновал, закатывал истерики, отказывался от пирожных и марципанов и требовал таких же сухариков, «как у Лёни». После рождения младшенького я стал кушать почти нормально, и вообще, меньше выпендривался. Теперь моей основной задачей было следить, чтобы

Лёне не перепало чего-то больше, чем мне.

Через год после рождения Лёни меня стали готовить в школу. Повели к директору, советовались, какой портфель купить, чёрный или коричневый, сообщили, что я читаю, пишу, считаю до тысячи, словом, объяснили, что школа получает готового вундеркинда. Директор вымученно улыбался, кивал, пожимал всем руки и в ужасе представлял себе, что его ждёт, когда я приду к нему в школу. Но ему повезло: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война» – помните эту песню? Завыла сирена воздушной тревоги, возникла паника. Только на моей улице и в соседних кварталах не испугались этой сирены: они думали, что это меня ведут в детский садик. Потом пошли бомбёжки, вспышки ракет, уханье зениток. На крыше дома врачей стоял зенитный пулемёт, который строчил не переставая, даже после бомбёжек. Во время тревог все бежали вниз, в подвал. В эти дни дворник Ваня стал самой заметной фигурой: по ночам в его комнате укладывали спать маленьких детей. На крышах домов дежурили специальные команды, которые хватали упавшие зажигательные бомбы и бросали их в бочки с водой.

Мы, пацаны, конечно, переживали, что должны отсиживаться в подвале и не можем сбивать фашистские самолёты и ловить зажигательные бомбы. Но зато мы активно включились в отлавливание шпионов. Сотни очевидцев рассказывали по радио, что видели шпионов, подающих знаки немец-

ким самолётам с помощью мигающих фонариков, в газетах призывали к бдительности. И мы бдили. Ребята постарше следили за прохожими, кандидатами в шпионы – обычно, это были интеллигенты в шляпах. Пионеры усилили охрану форпоста, уверенные, что именно на него нацелены все бомбы. Мне же было поручено с балкона следить за теми, кто входит в наш двор и, при первом же подозрении, бросать в них камни, которые мне предварительно доставили снизу. Я метал камни в каждого входящего, вплоть до почтальона, метал и прятался в комнате. Если снизу доносились крики и проклятья, я радовался, что поразил шпиона, и ему будет неповадно ходить в наш двор.

Через несколько дней после начала бомбёжек папа решил нас из Киева вывезти подальше. Он понимал, что его вот-вот призовут в армию, поэтому действовал очень оперативно: в начале июля у нас уже были билеты на поезд до Сухуми, где жили два папиных брата, Исаак и Аркадий, и сестра Нина, не говоря уже о многочисленных друзьях. Папа утешал маму и бабушку, что это ненадолго, что война быстро закончится победой, и в доказательство приводил строчки из популярной довоенной песни: «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом»... Так что мы ехали, как в отпуск: мама – в плаще, я – в морской курточке «капитанке» и в бескозырке с надписью «Герой», а Лёня – в белом плюшевом пальтишке. На всех троих был один чемоданчик.

Сразу после нашего отъезда папу мобилизовали, но поскольку у него за несколько месяцев до начала войны открылась кровоточащая язва желудка, его забрали на какой-то военный завод, с которым вскоре он был эвакуирован в Сибирь, в город Сталинск, ныне Новокузнецк. Последними выезжали дедушка с бабушкой. Эвакуация шла полным ходом, в панике и неразберихе. Билетов достать было невозможно, удирали на телегах, на велосипедах, пешком. Спас дядя Толя. Их театр был подчинён командованию фронтом, за неделю до прихода немцев их эвакуировали в выделенных для театра вагонах, куда дядя Толя «воткнул» дедушку и бабушку. Они доехали до Харькова, а оттуда, уже самостоятельно – до станции Тихорецкая, которая находилась недалеко от Сухуми. Когда они добрались до нас, в Сухуми, во всех дворах, уже рыли траншеи, называемые «щели», куда полагалось прятаться при бомбёжках, и обклеивали оконные стёкла полосами газетной бумаги, крест на крест, чтобы стёкла не разлетались от взрывной волны.

Всё это было оправдано – немцы приближались к Кавказу. Папа, понимая, что песня, которая обещала разгромить врагов «малой кровью и на вражьей земле», оказалась легкой мысленной лгуньей, прислал нам вызов от завода и слал телеграмму за телеграммой, призывая не откладывать выезд. В конце августа мы впятером двинулись в Сибирь, через всю страну, с бесконечным количеством пересадок, с ночёвками на вокзалах, с многочасовыми стояниями в очередях за

билетами, с потерей чемодана, который украли на одном из перронов – и, в конце концов, прибыли в город Сталинск...

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД

Нас поселили в рабочем посёлке, километрах в трёх от города, в одном из двухэтажных бараков, в двухкомнатной квартире. В одной комнате жила мамина сестра, тётя Софа, со своими детьми, Ромой и Светой, в другой – мы с бабушкой и дедушкой. Папа дни и ночи проводил то на заводе, то в больнице, изредка навещал нас и приносил несколько кусочков белого хлеба, которые ему выдавали как язвеннику. Туалета в квартире не было, воды тоже. Воду приходилось приносить в вёдрах, а в туалет – бегать на улицу. В сентябре ещё было ничего, но в декабре, в январе, когда мороз доходил до 45 градусов, когда даже ругательства замерзали на лету, каждый поход в туалет приравнивался к полярной экспедиции. Единственным преимуществом такого туалета было то, что там долго не задерживались. И, представьте себе, никто не простужался, даже мы, хотя мамин плащ, моя «капитанка» и Лёнино плюшевое пальтецо были не самой лучшей одеждой для Сибири. Со временем мы добыли телогрейки и старую шинель, из которого местная портниха сшила маме элегантное пальто и мама смогла ходить на работу. Потом устроились на работу и тётя Софа, и дедушка. На хозяйстве оставалась баба Люба, которая следила за нами и готовила еду. Обычно это была картошка, из которой она умудрялась придумывать разные блюда. Если у неё было несколько мор-

ковок и хоть одна луковица, она варила суп, который почему-то называла юх. Кастрюль не было, поэтому юх варился в ведре, на всю семью. Если лука было побольше, она готовила фальшивое жаркое, естественно, без мяса, но мы его обожали. Если кроме картошки вообще не было ничего, баба Люба делала пюре, заправляя его вместо масла кипятком – кипяток выдавался в неограниченном количестве. Если не было и картошки, тогда наступал полный... капец: приходилось перебиваться морковным чаем без сахара.

Мы, дети, выходили на поиски подножного корма: искали чёрную ягоду, которая называлась поздника, сдирали смолу с деревьев – её можно было жевать, выменивали на карандаши у местных пацанов жмых – выжимку после приготовления подсолнечного масла, она вкусно пахла и считалась деликатесом. Когда же папа раз в месяц приносил бутылку спирта, которую ему выдавали на заводе, кто-нибудь мчался на рынок и выменивал её на буханку хлеба – и начиналось пиришество: бабушка варила юх, выдавала нам по ломтю хлеба и командовала:

– Мочайте его в юх! Мочайте – будет сытно.

И мы «мочали». Мы вылизывали миски до блеска, не оставляя ни капельки на дне: надо было накушаться, завтра еды могло уже не быть. По сей день, как бы я не был сыт, я не оставляю ничего на тарелке: эта привычка есть «под облиз» сохранилась у меня с тех, военных лет. И ещё: с тех пор и по сей день, когда ночью я слышу гудок паровоза или тепло-

воза, мурашки пробегают по позвоночнику – это воспоминания о ночных посадках и пересадках, когда толпы людей с мешками и чемоданами бросались к вагонам, отталкивая и затапывая друг друга. Как-то на телевидении меня спросили, помню ли я войну – я ответил: она у меня в позвоночнике.

Когда стали приходиться американские посылки – полегчало. Каждая посылка – это паёк американского солдата: банки тушёнки, яичный и молочный порошки, топлёное масло, шоколад, галеты и, непременно, презервативы. Однажды мы с Ромой наткнулись на них и, решив, что это воздушные шарики, надули их всех и развесили на ниточках. Можете представить себе реакцию взрослых и их попытки убедить нас, что это специальные чехольчики для хранения огурцов.

После получения зарплат, мама и тётя Софа ходили на базар и приносили молоко и масло – на это уходила вся зарплата. Молоко было замороженное, в форме миски, в которой его замораживали. Нам, детям, отбивали по куску и мы его сами «растайвали» или просто сгрызали.

С наступлением весны всем жителям посёлка выделили землю под огороды. Наша семья предоставила каждому ребёнку по грядке, и каждый сажал там, что хотел. Меня мучили лавры Мичурина, я решил скрестить свёклу с морковкой и брюквой, поэтому в каждую лунку вложил по три семени, рядышком, чтоб они срослись. Выросло по три рахитика, которые мешали друг другу. Я связывал их нитками

в пучки, которые бы заставили их соединиться. Но мне не дали довести эксперимент до завершения. Видя, что я калечу будущий урожай, моих рахитиков повывёргивали и вместо них посадили картошку. Я рыдал от обиды, понимая, что был на пороге открытия нового овоща, я даже название ему уже придумал: свёклобрюкв или морквосвёкл.

Поскольку мы приехали в середине сентября, то в школу я пошёл с опозданием. Школа находилась в городе, в трёх километрах от посёлка. Естественно, никаких автобусов не было, приходилось топтать пешком. В семь утра, когда было ещё темно, мы выходили из дому, я, Рома и Света, и, держась за руки, чтоб не сбило ветром, шли вдоль берега реки Томь, притока Оби, зимой в мороз, осенью и весной – в дождь и слякоть. Ветер неистовствовал, пытаясь столкнуть нас в реку. Нас не сдувало только потому, что зимой мы до пояса погружались в снег, а весной и осенью – по колена в грязь.



ФУТЛЯРЧИК
ДЛЯ ОГУРЦОВ

В школе я впервые узнал, что я – еврей. Это меня очень

удивило. Как я уже писал, друзья папы и мамы были разных национальностей, русские, украинцы, грузины, армяне, греки... Но никто никогда это не акцентировал. А тут нас стали дразнить: «Узе приехал на козе» или «Два еврея, третий жид по верёвочке бежит». Местные мальчишки окружали кого-нибудь из эвакуированных еврейских ребят и требовали: скажи кукуруза. Не дай Бог, если парень картавил – начинались насмешки, улюлюканье, издевательства. Когда они подошли ко мне с тем же требованием, я подчёркнуто раскатисто произнёс: кукур-р-руза.

– Начитанный! – уважительно произнесли маленькие расисты.

Но это не значит, что меня оставили в покое – насмешки продолжались. Но однажды, когда они довели меня до иступления, я схватил какой-то дрын и стал лупить моих экзекуторов, по спине, по голове, по лицу. Их было трое и всех их я «приголубил», кого до синяков, кого до крови. Был дикий скандал, меня «прорабатывали» на педсовете, а учительница Доба Михайловна, которую мы называли Сдоба или Булочка, вызвала маму. Но после этого случая ко мне перестали цепляться и даже зауважали. С тех пор я понял необходимость применять силу, когда встречаешь тех, кто иного языка общения не понимает.

Спустя много лет, это уже было в Киеве, мой сын пошёл в школу и там столкнулся с той же проблемой.

– Папа, – огорчённо спросил он меня, – это правда, что

мы евреи?

– Правда, ответил я. – И все соседи в нашем доме тоже евреи, и все киевляне – евреи, и вообще, все обитатели Земли – евреи, но не все об этом знают.

На какое-то время сын успокоился.

УРА! МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ

В конце 1943 года завод, на котором работал папа, перевезли в Сталинград и через некоторое время мама, я и Лёня, переехали к нему. Такого разрушенного города я никогда в своей жизни больше не видел: всюду развалины, груды кирпича, обломки бетонных блоков, скрученные от пожаров трубы, остатки обгоревшей мебели... Были здания, в которых рухнула только одна стена, открыв квартиры на разных этажах, как в театре, когда показывают дом в разрезе. Но это были не декорации, это были чужие жизни, вернее, их остатки: на одном этаже сохранились книжный шкаф и письменный стол, на другом – металлическая кровать со сгоревшим матрасом, из которого вылезли пружины; на третьем – детская педальная машина и ночной горшочек... Всё это обугленное, разрушенное, искорёженное – театр военных действий.

Мы жили опять в рабочем посёлке, опять в бараке, но теперь папа мог чаще бывать дома. И он, и мама предупреждали, требовали, умоляли, чтобы я не ходил в развалины. Там остались неразорвавшиеся мины и снаряды. Сапёры проделали сквозь завалы тропинки, по которым можно было ходить, но мы, мальчишки, конечно же, лазили в самых нехоженых местах, где можно было найти немецкие каски, медали, погоны, патроны, трубчатый порох из снарядов и да-

же пистолеты и автоматы. Находили и мины-сюрпризы в виде симпатичных игрушечных яичек, фонариков, авторучек. Каждый день гремели взрывы, каждый день кому-то отрывало руку, ногу, выбивало глаз. Но уцелевшие продолжали свою мальчишескую деятельность: по вечерам мы разводили костёр и бросали туда патроны с трассирующими пулями. Это было моё любимое развлечение: патроны взрывались, и светящиеся пули со свистом летели в разные стороны. Мы с весёлыми воплями бросались на Землю и пули пролетали над головой. Кроме патронов в костёр бросали трубчатый порох, который, загоревшись, с воем проносился над нами, вращаясь по совершенно непредсказуемым траекториям. До сих пор не представляю, как я остался цел и невредим – когда-нибудь задам этот вопрос своему ангелу-хранителю.

Осенью 43-го был освобождён Киев. Весной туда возвратились дедушка с бабушкой и тётя Софа с детьми. И в её квартире, и в нашей жили люди, вселённые туда по ордерам. Поэтому тёте с детьми и дедушке с бабушкой предоставили общую двухкомнатную квартиру по улице Чкалова, и они стали усиленно звать нас. Мама очень скучала по Киеву и, конечно, нацелилась на отъезд. Папа пытался возражать, но мама его убедила, что ей надо ехать: пока его демобилизуют, она найдёт работу, получит квартиру и папа вернётся уже в собственное жилище. Если мама чего-то хотела, она всегда добивалась своего. Я уверен, что она могла бы уговорить даже тигра стать вегетарианцем. Поэтому летом 1944-го года

мы уже были в Киеве, получили две койки в нашем семейном общежитии, одну для мамы, одну для нас с Лёней, и мама стала искать работу. Она устроилась бухгалтером в большой строительный трест и через десять месяцев получила комнату в коммунальной квартире, где было трое соседей, а ещё через год – вторую, там же. Это была необыкновенная удача – квартира оказалась просторной, с большой кухней, длинным коридором, даже с кладовкой, но самое главное, в одном из лучших районов Киева, в начале Печерска, в Липках. До революции здесь жили купцы первой гильдии, крупные предприниматели, местная аристократия, теперь этот район облюбовали «слуги народа» – секретари ЦК, министры, руководители армии, КГБ, МВД и так далее. Рядом с нашим домом, за трёхметровым каменным забором, стоял особняк председателя президиума Верховного Совета Украины, через полквартила от нас, за ещё более высоким забором – дом генерального секретаря компартии Украины. После десяти вечера проезд по нашей улице был закрыт до утра, чтобы народ не мешал отдыхать своим слугам. Наш район просто кишел министрами и партийными боссами. С их сыновьями и внуками я учился в школе, многие их дочери, племянницы и жёны впоследствии стали моими любовницами, так что я не напрасно жил в их окружении: я им улучшал породу.

Переехав на Печерск, я начал порхать по школам, из одной в другую. Это происходило так: в конце учебного года маму приглашали в кабинет директора, где показывали мой

табель с оценками: по всем предметам пятёрки, а по поведению – четвёрка, а то и тройка. Директор ставил условие: «Если вы его заберёте из нашей школы, мы исправим поведение на пятёрку, дадим похвальную грамоту и отличную характеристику. Только заберите!» Мама соглашалась, и я становился украшением новой школы. Через год всё повторялось: «Если вы его заберёте...» И я, взмахивая крылышками похвальных грамот, перелетал в следующую школу.

Первая школа, в которую я поступил, приехав в Киев, находилась на Гоголевском переулке, сейчас её нет, давно закрыли. Переехав на Печерск, я пошёл в 94-ую школу, которая затем стала женской, а впоследствии, тоже закрылась. (Почему-то все школы, в которые я поступал, вскоре прекращали своё существование. То ли рок, то ли совпадения, но когда я переходил в новую школу, мне уже сразу было её жалко, и я с ней заранее прощался.)

Дольше всего я задержался в 147-й школе, которая находилась возле моего дома, на Крутом Спуске. В этой школе мне особенно запомнились пончики. Время было голодное, всё по карточкам, а нам их продавали очень дёшево, несколько копеек за штуку, каждому по пончику. Все сдавали свои деньги в общую кассу, и кто-то один шёл в буфет, покупал на всех и приносил в класс. Собирать деньги и идти покупать было очень выгодно, потому что в классе всегда несколько человек отсутствовало и тот, кто покупал, выкладывал за них свои деньги и получал эти пончики себе. Каждый с нетер-

пением ждал своей очереди. Единственным, кто отказывался от этой сладкой обязанности, был я, потому что страшно боялся, и по сей день боюсь, приобщаться к общественным деньгам, чтобы меня не заподозрили в каких-нибудь махинациях. Наверное, это своего рода психоз, но и в детстве, и в юности, и в зрелости я всегда категорически отказывался от обязанности общественного казначея. Так вот, тогда в классе, я всегда уступал свою очередь Вальке Склярику – он обожал эту деятельность. Это был первый бизнесмен, которого я встретил в своей жизни. Свои дополнительные пончики он перепродавал желающим за тройную цену. Но этого ему было мало, и он изобрёл ещё одну возможность заработка: принеся в класс поднос с пончиками, он кричал: «На хапок!», и все бросались к подносу. Естественно, самые сильные успевали схватить по два-три пончика, а слабым ничего не доставалось. Склярик же в результате этой операции, получал ещё несколько пончиков, которые он предварительно прикармливал до «хапка». С тех пор я часто вспоминал Склярика, когда то здесь, то там, пытаюсь замести следы своих махинаций, устраивали «хапок», в разных отраслях, в разных «жанрах». «Хапок» – это была спасительная возможность пожить чужим и списать за счёт беспорядков и хаоса.

Мы были дети войны, много повидавшие, рано повзрослевшие, никого не боялись, поэтому, конечно, нашим педагогам приходилось несладко. Над теми, кого не любили, издевались страшно. Например, учительнице химии, ненави-

димой всеми, намазывали стул вишнёвым клеем, который прихватывал намертво, и ей приходилось либо вылезать из юбки, либо бежать жаловаться директору вместе со стулом. Чтобы сорвать нелюбимый урок, на перемене поджигали киноплёнку, затапывали огонь, и класс заполнялся чёрным едким дымом, от которого задохнулись не только учителя, но и все ученики... Но мы шли на эти жертвы во имя святого дела: сорвать урок. Выбор средств был неограничен, мы были неистощимы на выдумки, переходящие в безжалостные подростковые издевательства. То в ящике учительского стола поджигали порох, и к середине урока стол прогорал, загорался, и его весело и долго тушили. То на страницу классного журнала с поставленными на уроке двойками, к концу урока опрокидывалась бутылка чернил, предварительно подвешенная у потолка, прямо над столом...

Но зато, если мы любили, то преданно и беззаветно. Помню, был у нас преподаватель математики Дремлюга, толстый, лысый, смешной бегемотик. Он пришёл к нам в середине учебного года и понимал, что у него есть те первые две минуты, в течение которых он либо удивил и заинтересовал нас, либо потерял навсегда. Поэтому, впервые войдя в класс, вместо традиционного «Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель», начал с протяжной украинской напевностью: «Я родился в маленьком еврейском местечке Меджибодже и вместе с еврейскими голопузиками бегал к ребе в хедер. И ребе говорил «А-а-алеф», и мы все повторяли «А-а-алеф», и ребе

говорил «Бе-е-ет» и мы все повторяли «Бе-е-ет»...

Это было неожиданно, нетрадиционно и конечно, он нас удивил, и мы стали с интересом слушать. Он продолжил свои истории, незаметно вводя в них разные математические задания, правила, формулы. К концу урока он полностью покори нас, мы даже не заметили, как проглотили ту порцию знаний, которую он нам выдал, и с нетерпением ждали следующей встречи. Так пугающий предмет математика стал одним из самых любимых, появились отличные оценки, даже самые беспросветные двоечники выползли на тройки.

Помню учительницу украинского языка и литературы с не совсем украинским именем и отчеством – Сима Исааковна. Она придумала свой метод вызывать наш интерес: где-то раздобыла приключенческую повесть «Шхуна «Колумб» на украинском языке и в конце каждого урока, минут по десять, читала её нам. При этом предупреждала: «Если на следующем уроке будете хорошо и быстро отвечать, у меня останется больше времени на чтение». Естественно, мы выучивали домашнее задание на зубок, быстро и чётко отвечали, с нетерпением ожидая продолжения. На этом примере я впервые ощутил великую привлекательность сериала.

ХИМИЧКА,
ПРИКЛЕЕННАЯ
К СТУЛУ



Учитель географии Георгий Петрович был классным руководителем нашего 7-Б класса (это уже в 147-й школе). Он изобрёл самый притягательный «магнит», заявив: кто будет

хорошо знать его предмет, того он запишет в географический кружок, в который войдут и девочки из соседней женской школы, с руководством этой школы он уже договорился. Начался ажиотаж, каждый хотел попасть в этот кружок, поэтому буквально зазубривал названия рек, озёр, горных хребтов, вулканов – за это Георгий Петрович два раза в неделю водил нас в женскую школу, где мы официально знакомились с девочками.

Как я уже писал выше, интерес к противоположному полу был огромен. В моём классе учился Лёня Грабовский, впоследствии известный украинский композитор, а тогда – маленький, худенький отличник с двумя прозвищами: Гробик и Юродивый. Лёня был единственным сыном у разведённой мамы, которая держала его в строгости и повиновении. Она рьяно оберегала его нравственность: не отпускала на наши вечеринки, не разрешала вечерних прогулок – не позднее десяти вечера он должен был возвращаться домой.

Лёня очень боялся мамы и безропотно выполнял все её требования. Но его сексуальный интерес был обратно пропорционален его телосложению: он запойно рассматривал все принесенные в класс непристойные рисунки и, смакуя, пересказывал нам фривольные подробности из «Декамерона». Этот его повышенный интерес и его вечернее затворничество дало нам повод для весёлого развлечения: однажды, как бы не замечая его присутствия, я, Юра Смирнов-Несвицкий и Коля Высоцкий стали обсуждать наши приключения.

Из разговора вырисовалось, что каждый вечер, после двенадцати, балерины из театра оперетты бегают голыми по безлюдной улице до стадиона и обратно – это входит в их обязательные тренировки. История была дикой и нереальной, но Лёня заглотнул: совершенно потрясённый, он подошёл к нам и робко спросил: «Неужели это правда?». Мы, как бы смущённые тем, что он услышал, пытались неумело выкручиваться: «Нет, это не совсем так, но... Видишь ли... Словом, тебе это не надо знать». Наше поведение его ещё более раззадорило, и он просто взял нас за горло, требуя подробностей. Посопротивлявшись, мы сдались, взяв с него страшную, клятву о неразглашении. С тех пор, каждое утро, Лёня, раскрыв рот от вожделения, с горящими, как у вампира, глазами выслушивал наши отчёты об очередном забеге голых танцовщиц, о форме и размерах их груди, ног и прочих деталей. Лёня погибал, сгорая от страсти, а мы, за его спиной погибали от хохота, каждый раз добавляя новые подробности о наших взаимоотношениях с голопопыми балеринами: как мы их выманиваем из толпы, как они с нами задерживаются на ночном стадионе, что они нам позволяют, и как мы этим пользуемся. Тут шли такие подробности, что бедный Лёня или приближался к потере сознания или стремительно мчался в туалет. Это сексуальное издевательство продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока он, доведенный уже до невменяемости, нарушил мамин запрет и в двенадцать ночи спрятался у театра Оперетты, в ожидании вожделенно-

го пробега. Естественно, не дождался. Когда наутро он обвинил нас в обмане, мы ему объяснили, что со вчерашнего вечера балеринам бегать запрещено, потому что они все забеременели от нас, и им будут делать коллективный аборт.

НОЧНАЯ ПРОБЕЖКА
БАЛЕРИН



А ТЕПЕРЬ – О МОЕЙ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

*«Кокетка, ветреный ребёнок,
Зовут Лариса Филиппёнок».*

Это про неё. Обаятельная, светловолосая, голубоглазая, с беломраморным лицом – её называли «болезнью Ленинского района», потому что в неё были влюблены все мальчишки не только из нашей школы, но и из соседних. Местом наших ежевечерних встреч была площадка между домами, где играли в волейбол, рассказывали истории, пели песни. Здесь завязывались более близкие отношения, зарождались первые романы, плелись первые интриги. Конечно, основными претендентами на внимание Ларисы были самые высокие, самые раскачанные спортсмены, такие как мой ближайший друг Толя Дубинский, уже тогда имеющий вторые разряды по волейболу и плаванию. Я же только в восьмом классе стал расти вверх и раздался в плечах, а тогда, в седьмом, был худеньким, щупленьким, невысокого роста. Конечно, я тоже был в неё влюблён, но стеснялся даже намекнуть на своё чувство, уверенный, что получу в ответ насмешливый отказ. Дома я внимательно рассматривал в зеркале своё лицо и огорчённо вздыхал: большой нос, большие глаза, худая шея – я понимал, что у меня нет никаких шансов на вза-

имность, и мучительно не спал по ночам, отчего у меня под глазами появились ещё и синие круги, отнюдь не добавившие мне привлекательности. С мальчишками я по-прежнему вёл себя свободно и независимо, был постоянным заводилой и инициатором всяких авантюр, но к Ларисе даже не приближался. И вдруг она сама стала проявлять ко мне интерес и даже однажды попросила проводить её до дому. Это не прошло незамеченным и всех ошеломило. В том числе, и меня – я никак не мог поверить в своё счастье и считал это серией случайностей. Но однажды она пригласила меня в кино на трофейный фильм – у неё были два билета. Мы сидели в последнем ряду, от неё пахло парным молоком и какой-то неземной свежестью. Моё сердце билось о решётки грудной клетки, пытаюсь вырваться на волю. От неё шло такое притяжение, что я не удержался и осторожно взял её ладонь в свою. Она вся напряглась, потом вдруг прижалась ко мне и положила свою головку мне на плечо. Меня словно ударило током, тело стало обжигающе горячим, как будто снизу в меня накачивали кипяток (не стану конкретизировать, через что). Я не выдержал и стал целовать её тоже горячую щеку. Она не сопротивлялась, не отклонялась, а, наоборот, в ответ на мои поцелуи прижимала свою щеку к моим губам... Словом, на экран мы, конечно, не смотрели, но название фильма я запомнил на всю жизнь, оно очень соответствовало моему состоянию: «Трансвааль в огне».

Вернувшись в этот вечер домой, я опять долго стоял у зер-

кала, рассматривал своё лупоглазое лицо и думал: «Неужели это правда? Неужели это я целовал Ларису? Значит, во мне что-то есть, раз она выбрала меня! Значит, я могу нравиться!» Окрылённый этим открытием, я выровнял спину, расправил плечи и с этого момента стал вести себя намного уверенней, как ведут себя мужчины, знающие, что они любимы.

Потом наступил Новый год. Наши мудрые и красивые мамы, моя и Толина, разрешили нам встречать его самостоятельно, всю ночь. Это был первый взрослый Новый год в нашей жизни. Мы собрались у Толи Дубинского, нас было четверо ребят, каждый со своей девушкой. Мы красиво накрыли стол, создали уютный полумрак и всю ночь танцевали и целовались. В эту ночь окончилось наше мальчишеское детство, мы стали юношами.

Назавтра я пришёл к Ларисе её проведать. Дома никого не было, её родители уехали на дачу. Она ещё лежала в постели, полусонная, тёплая, желанная, в полупрозрачной ночной рубашке. Я сел рядом, стал гладить её волосы, лицо, шею. Потом рука моя скользнула под рубашку и коснулась маленькой твёрдой груди. Я опять стал наливаясь кипятком, второй рукой притянул её к себе, потом оттолкнул, опять прижал, опять оттолкнул... Наконец, резко вскочил, не прощаясь, вылетел из квартиры, помчался вниз по лестнице, выскочил на морозную улицу и в темпе прошагал несколько кварталов, чтобы прийти в себя. Я знал, что сегодня могло произойти то, о чём я даже не смел мечтать бессонными но-

чами, я мог закрепить свою победу, привязать её надолго к себе. Но я и понимал, что произошло бы что-то непоправимое, то, что усложнило бы ей жизнь, и я не мог себе этого позволить. И ещё, где-то подсознательно, я ощущал, что если бы так, с налёту, овладел ею, то мог бы всё разрушить в себе, потому что главное, что влекло меня к ней – её недоступность.

И так я её не тронул. Это был великий подвиг воздержания, первый в моей личной жизни и, признаюсь честно, и последний.

И именно с этого дня, что-то ещё не построенное в наших отношениях, стало рушиться. У неё появились активные ухажёры из старших классов, они ждали её после уроков и провожали домой. Я ревновал, страдал, снова не спал ночами, но не устраивал ни сцен, ни разборок. Обострённое, болезненное самолюбие помогало держать себя в руках: в её присутствии я был весел, улыбчив, напропалую острил, на школьном вечере танцевал с её одноклассницами, но не с ней. Сперва это её удивляло, а потом стало злить – она стала откровенно выказывать свой интерес к другим ребятам. Я в ответ стал откровенно ухаживать за её подружкой, и... Наша любовь покатила под откос. Она стала активно встречаться то с одним, то с другим и в десятом классе вышла замуж. Последним её увлечением был мой друг Толя. Я знал, что и она ему очень нравилась, их отношения могли перерасти во что-то большее, чем школьная дружба, но Толя видел, как

я переживаю, ему надо было выбирать между нами, и он однажды резко прервал их встречи.

С Толей Дубинским мы подружились ещё в пятом классе и пронесли эту дружбу через все годы, до его ухода из жизни (в пятьдесят девять лет он умер в Киеве от рака простаты). Наши мамы, и его, и моя, были молоды, красивы и демократичны, поэтому мы решили, что их надо познакомить и подружить. Решено – сделано. Мамы понравились друг другу, стали встречаться, познакомили пап, вместе ходили по магазинам, вместе отмечали праздники и стали закадычными подругами. Я расскажу о них более подробно. Начну с моей мамы, впрочем, нет – начну с её корней: дедушки и бабушки.

ЛЁВА+ЛЮБА

Мой дед Лёва, тихий, добрейший человек, обожал бабушку, ревновал, не пускал одну в магазины, сам всё покупал ей, вплоть до зажимок для волос, не разрешал носить тёмную одежду («Тебя старит!»), до последнего часа любовался и гордился ею. Я не разу не слышал, чтобы он на кого-то повысил голос: всегда улыбался, мурлыча под нос какую-нибудь песенку, всегда искренне радовался приходу детей или внуков. И не только нашему – мои школьные друзья просили меня: «Пошли к твоему деду», потому что он принимал их, как родных, поил чаем, выслушивал жалобы на учителей, смеялся вместе с нами над нашими проделками, рассказывал весёлые истории из своей молодости. Мы учили его стрелять из рогатки, а он, тайком от бабушки, демонстрировал нам, как через тонкий резиновый шланг высасывает из бутылки вишнёвую наливку и доликает туда воду из чайника. Наливка с каждым днём бледнела всё больше и больше, а бабушка ругала продавцов за то, что те подсунули ей плохие вишни.

Мы росли, мужали, окончили школу, поступили в институты, но всё равно находили время, чтобы попить чай у моего деда и поговорить «за жизнь». Однажды мы рассказали ему, как стараемся женить нашего бывшего одноклассника, добиваясь его грехопадения, как учим претендентку в его

жёны носить блузку с глубоким вырезом и максимально укорачивать мини-юбку... Но, увы, на него это не действует.

– Крепкий орешек, – заключил кто-то из ребят, – его голыми руками не возьмёшь.

– И голыми ногами тоже, – добавил дед. – Меня, например, бабушка совратила под общим наркозом.

– Босьяк! – закричала бабушка. – Чему ты учишь детей, тебе ведь уже семьдесят три года!

– Представляете, что я вытворял в семьдесят два! – подмигнул дед.

Через месяц у него случился инфаркт. В воскресенье вся семья пришла его проведать. Стояли вокруг постели, говорили подчёркнуто бодрыми голосами, дежурно подбадривали. Потом бабушка позвала всех завтракать. Дед слабыми пальцами придержал меня за руку и, когда все ушли в соседнюю комнату, тихонько попросил: «Береги бабушку». Через полчаса его не стало.



Это была первая в моей жизни потеря, первая смерть близкого человека. Я был подавлен, потрясён и испуган, молча сидел в углу, наблюдая за пришедшими выразить своё сочувствие родственниками, друзьями, соседями. Бабушка бросалась каждому навстречу, обнимала, начинала рыдать – её успокаивали, утешали. Их квартира была на первом этаже, за окном шли прохожие, играли дети, из громкоговорителей звучали бодрые марши. А мой всегда приветливый и весёлый дед лежал, накрытый простынёй, со сложенными на груди руками, с горящей свечой у изголовья, и ничего уже не видел и не слышал.

Это было ужасно, нелепо, несправедливо – я не мог с этим примириться. В это время пришёл мой двоюродный брат Рома, обнял бабушку, прижал её к себе. Она сквозь рыдания бормотала:

– Всё, Ромочка, нет больше твоего дедушки...

Рома попытался её успокоить:

– Ну, ничего, баба, ничего... Бывает, бывает.

Он говорил со слезами на глазах, искренне, от души, не ощущая, что эта фраза в подобной ситуации украсила бы любой итальянский фарсовый фильм. И тогда, на этом болевом примере, я впервые увидел, как сосуществует рядом трагическое и смешное. Потом я встречался с этим всё чаще и чаще, а может, просто мой мозг был настроен на этот сплав и фиксировал его, когда другие это не замечали. Может, именно поэтому, трагикомедия всю жизнь была самым близким

мне жанром.

Когда деда хоронили, весь мой класс пришёл попрощаться с ним. И не только класс – огромное количество людей провожали его в последний путь, приехали даже инвалиды в колясках – его сверстники. Несколько кварталов гроб несли на плечах, не укладывая в катафалк, сменяя друг друга – каждому хотелось подставить плечо.

Бабушка всю свою жизнь прожила признанной королевой, у которой был верный паж и своё маленькое королевство – их коммунальная квартира, в которой жила ещё семья дедушкиного брата Моти, маленького славного человечка, тихого, как дедушка Лёва.

Всю жизнь Мотя проработал электромонтёром, поэтому бабушка считала его неудачником, постоянно учила уму-разуму, поругивала, гоняла за покупками. «Этот Мотя, этот шлымазл» – так она начинала каждую новую историю о Мотиных проступках и неудачах. Но стоило кому-нибудь из соседок плохо отозваться о Моте, бабушка давала ей такой отпор, что поверженная соседка с позором спасалась бегством, а Люба кричала её вдогонку:



МОС Е АРМУКА

– Ты смеешь открывать рот на Мотю?! Да тебе надо ещё дорасти до него!

Это был её Мотя, только она имела право казнить его и миловать. Не говоря уже о дедушке, который полностью принадлежал ей, и она им распоряжалась, как хотела: что одеть, что сказать, что кушать.

– Папа, попробуй пирожок, ты же любишь с вишнями, – предлагала мама. Дедушка тянулся вилкой к пирожку, но его, как всегда, опережала бабушка:

– Он не любит – ему нельзя теста.

– Я не люблю, мне нельзя, – покорно соглашался дедушка, кладя вилку на место.

– Тогда возьми этот биточек.

– Он не хочет, – снова вмешивалась бабушка, – ему не надо жареного.

– Я не хочу, мне не надо, – подтверждал дед, облизываясь.

Избалованная дедом, бабушка жила, не зная, какая сегодня за окном власть. Однажды, незадолго до смерти, она услышала от Лёни фамилию артиста Броневого и встрепенулась:

– Я его знаю! Это тот чекист, который ворвался к нам, как бандит, сорвал с Софочки золотую цепь и ограбил весь дом. Он унёс всё, даже ложки и вилки. Забери у него хотя бы Софочкину цепь.

– Баба, это не тот Броневоёй, это – его сын, артист, – пы-

тался объяснить ей Лёня, – тот был революционером и давно умер.

– Твой покойный дедушка говорил: самое страшное – это еврей-дурак и еврей-революционер. Так заberi у артиста, я уверена, что он её передал по наследству.

(Кстати, я взял на вооружение эту идею: когда-нибудь мы потребуем у Леонида Броневского бабушкину цепь, а пока – пусть ещё немного её поносит.)

Бабушка в молодости была очень красива, следила за собой, до шестидесяти лет носила корсет, регулярно ходила к парикмахеру – подкрашивала волосы, делала модную причёску. Не могу забыть её глаза, большие, чёрные, сверкающие – она старилась, а глаза оставались молодыми и горящими. За несколько дней до смерти, высохшая и обессиленная, попросила Майю подстричь её, причесать и подкрасить ей губы. Так она и ушла в мир иной, причёсанная и ухоженная, чтобы порадовать дедушку, который её, конечно, там встречал.

Дедушка и бабушка навсегда вошли в мою жизнь и в моё творчество: в своих рассказах и пьесах я дарил их черты, их взаимоотношения своим любимым персонажам.

Когда я по несколько дней не бывал у бабушки, она говорила:

– Помни: я – уже гостя на этой Земле. Я скоро уйду, и ты меня не застанешь. Пока я ещё здесь – приходи.

Прости меня, бабушка! Только сейчас я оценил

мудрость твоих слов, только сейчас осознал, как мало уделял времени, тепла и внимания самым дорогим моим попутчикам по жизни! Вот я уже сам приближаюсь к твоему возрасту и уже сам повторяю твои слова моим внукам. Увы, они тоже поймут их только тогда, когда доживут до моих лет. Селяви!

А теперь я расскажу о моей самой умной, самой красивой, самой великой маме.

МОЯ САМАЯ, САМАЯ МАМА

До замужества мама училась в Киевской консерватории по классу рояля, училась хорошо, подавала надежды. Заканчивая второй курс, познакомилась с папой, который был старше её на десять лет, элегантный, преуспевающий, умеющий красиво ухаживать. В течение двух недель дом был заполнен шикарными букетами цветов, коробками шоколадных конфет, шампанским, дорогими ликёрами. Каждый вечер – концерты, спектакли, рестораны... Девятнадцатилетняя мама была покорена, состоялась свадьба, мама бросила консерваторию и с папой уехала на Кавказ, где он тогда работал и где у него было огромное количество друзей. Медовый месяц превратился в медовый квартал, среди гулянок зародился я. Беременная мама вернулась в Киев, где и произвела меня на свет. Когда я вырос, мне часто говорили, что я похож на грузина, армянина, грека... Я спросил маму: «Сознайся, кто тебя на Кавказе догнал?». Она рассмеялась:

– Не скажу – мучайся всю жизнь в неведеньи!

Характеры моих родителей были полярно противоположны: папа любил стабильность, мама не могла жить без перемен. Но последнее слово всегда было за ней. Папа называл её «Идочка», «Идуська», «Маршал», «Генералиссимус» и подчинялся всем её капризам и начинаниям.

Любимым занятием мамы было – переставлять мебель.

Возвращаясь вечером домой, папа никогда не знал, где, у какой стены, на этот раз будет спать. Однажды он позвонил мне и взмолился: «Пожалуйста, приди к нам, спаси меня!». Я примчался и увидел, что тахта теперь стояла поперёк комнаты, упираясь в угол.

– Я не могу спать, – чуть не плакал папа, – у меня нет опоры, я скатываюсь на пол.

– Мама, это, действительно, неудобно, я бы тоже свалился, – поддержал я папу.

– Но это же оригинально, как вы не понимаете! – мама была искренне удивлена и обижена. – Я ведь и остальную мебель поставила углом – это особый шарм! Завтра у нас гости – они все будут завидовать!

– Я до этого не доживу, – причитал папа, – я во сне упаду и убуюсь.

Говорят, что все женщины любят деньги, а наша мама их ненавидела: как только в доме появлялись деньги, она от них немедленно избавлялась – тратила на платья, блузки, юбки, косынки. Но больше всего, она любила творить сама – покупала отрезы крепдешина, панбархата, маркетта, несла портнихам и создавала свои собственные фасоны, которые потрясали её подруг. Походив в таком сногшибательном платье, обстрелянная залпами комплиментов, мама продавала его за полцены и шила новое.

Переехав вслед за мной в Москву, она скучала по своим друзьям и два-три раза в году ездила к ним в гости, везя с

собой два огромных чемодана – один, как трамвай, другой, как троллейбус.

– Мама, они неподъёмны, – стenal я. – Что в них?

– В этом – немножко консервов, икра, конфеты... У них же плохо с продуктами.

– Ты собираешься там открыть свой гастроном? А что во втором чемодане?

– Несколько моих платьев,

– Несколько?! Сюда вошло содержимое всех твоих шкафов! Зачем столько? Ты же едешь всего на неделю.

– Но не могу же в одном и том же выходить к завтраку, обеду, ужину... А в театр? А в ресторан?.. Как ты не понимаешь!

Когда-то, ко дню её рождения, я написал весёлую сценку, в которой на вопрос «Что вы сделаете, если выиграете миллион рублей?», мама отвечала: «Куплю самое необходимое, а остальное возьму в рассрочку».

Творческая натура, она тяготилась профессией бухгалтера, которую освоила после моего рождения, периодически бросала её и устраивалась то администратором в филармонию, то распространителем театральных билетов, то разрисовщицей в Художественном Фонде. Однажды у неё возникла новая идея:

– Меня приглашают учителем музыки в детский садик. Это интересно и можно хорошо заработать: я возьму ещё несколько садиков по совместительству. Но мне надо немно-

го позаниматься, чтобы восстановить уровень. – Папа, я и Лёня настороженно молчали, ожидая очередного сюрприза, и он не заставил себя ждать. – Я договорилась в прокатном пункте, нам завтра утром привезут рояль.

– Господи! Куда ты его поставишь? – простонал папа.

– Я сдвину мебель и освобожу место.

– Сколько же это всё стоит – прокат рояля и его доставка?



МОЯ КРАСИВАЯ МАМА

– Неважно! Я начну работать, и всё окупится.

Назавтра, четверо грузчиков, тяжело дыша и чертыхаясь, втащили огромный концертный рояль к нам на шестой этаж. Как он влез в нашу дверь, как втиснулся между мебелью –

это уже мамин секрет, думаю, что она его намылила. Входить в комнату папа теперь мог только боком, а мы с Лёней – проползали под роялем.

Несколько дней подряд, по утрам, мама садилась к роялю, вдохновенно играла и напевала. Потом постепенно вдохновение стало таять, интерес исчез, и однажды вечером она заявила:

– Детям нужно нести высокое искусство, а я потеряла квалификацию. Восстанавливать долго, а силы уже не те – я возвращаю рояль.

Назавтра, те же четыре грузчика, так же кряхтя и чертыхаясь, выдворили трёхногого агрессора из нашей квартиры. Папа был счастлив, весело рассказывал анекдот о козе: в комнате, действительно, сразу стало просторно. Но его радость длилась недолго: мама заявила, что раз в доме много свободного места, она купит ещё один шкаф, тройной.

Вспоминаю, как мама отучала меня курить. Мы, дети войны, созрели рано. В четвёртом классе уже лихо затягивались, откашливая дым, который ещё не доставлял удовольствия, но рисовал нас мужчинами в собственных глазах. Конечно, мы это делали «втихаря», прячась по подъездам, что придавало особую остроту ощущений.

Однажды мама усадила меня рядом и сказала:

– Я знаю, что ты куришь, Это ужасно, это вредно, но если ты уже не можешь прекратить, я буду давать тебе деньги на папиросы, только не обманывай меня – это унижительно для

нас обоих.

Первые несколько дней после этого разговора я, на зависть моим одноклассникам, гордо шагал по тротуару, выпуская дым из носа, изо рта и даже из ушей. Мне не надо было прятать папиросу в рукав или нырять в подъезд при виде знакомых взрослых – пропал азарт, пропал интерес, я перестал курить и не курю до сих пор.

Когда в седьмом классе появились первые девочки и звучали первые поцелуи, мама стала приглашать нашу компанию в дом, накрывала на стол и даже, к ужасу ханжей, ставила на стол бутылку вина («Пусть лучше пьют дома, чем в подъезде»). Когда я стал старше и отношения с девушками уже не ограничивались поцелуями, мама накрывала на стол и уходила с папой в кино.

– Мы уже видели этот фильм, – пытался протестовать папа.

– Он мне очень понравился, хочу ещё раз, – объясняла мама и досматривала до конца даже самый кошмарный фильм.

Я вырослел, входил во вкус, всё чаще менял подружек – мама и папа уходили в кино почти каждый вечер, их считали заядлыми киноманами.

Однажды, через много лет, я пошутил:

– Курение – это порок, которого я избежал, благодаря тебе, мама. Спасибо, что ты разрешала мне курить.

– Этот метод не всегда себя оправдывает, – улыбнулась мама. – Я ведь тебе разрешала и с девушками встречаться.

Когда, вернувшись из Алма-Аты, куда я уезжал по распределению после института, я решил навсегда завязать с инженерией и пробиваться в литературу, мама поддержала моё решение, а папа был в ужасе.

– Куда? В писатели? Во-первых, это не профессия, а во-вторых, кто его будет публиковать – у нас же нет связей!

– А ему не нужны связи, он и без них пробьётся – у него есть талант.

– Откуда ты знаешь?

– Не знаю, а уверена!

Когда Лёня решил податься в артисты, папа ещё более расстроился.

– Это пустая трата времени, у нас ни одного знакомого в Театральном институте, а туда прёт весь Киев.

– А причём тут Киев? Он поедет в Москву, будет подавать в самое лучшее училище, в Щукинское.

– Ты с ума сошла! Там конкурс двести человек на место, я сам читал! Ребята поступают там по много лет подряд и безуспешно.

– А Лёничка поступит с первого раза, вот увидишь.

Она повезла Лёню в Москву, но они уже на первый тур опоздали. Тогда она, только ей известными путями, пробилась к Рубену Симонову, художественному руководителю театра имени Вахтангова. Тот не смог ей отказать, и она уговорила его прослушать Лёню.

После просмотра Симонов тут же написал записку дирек-

тору Щукинского училища Борису Захаве. Там были такие строчки:

«Этот мальчик, как и мы, тоже маленького роста, но он далеко пойдёт, может быть, дальше нас. Присмотрись к нему». Захаве Лёня тоже понравился, и его приняли.

Нашей маме невозможно было отказать.

В эвакуации, во время пересадок, на станциях, где в ожидании билетов скапливались сотни, а то и тысячи пассажиров, мама шла к начальнику вокзала и через десять минут возвращалась с билетами, а то и с ним самим, великим и могучим, который выходил, чтобы помочь нести чемоданы.

Когда мы шли на концерт самых популярных гастролёров, когда зал был забит до отказа, а билеты раскуплены за месяц до концерта, мама пробивалась к главному администратору и он, важный и неприступный, сам выносил из своего кабинета стулья и ставил их нам в проходе.

Любой дефицитный товар (а тогда всё было дефицитным, кроме тюльки в томате), стоило маме зайти к заведующему магазином – ей выносили через служебный ход и приглашали заходить ещё.

Она никогда не давала взяток, никогда не занимала высоких постов и не являлась «нужником» – просто была неотразимо обаятельна и обладала великим даром убеждения. С нашего самого раннего детства она гордилась нами и непоколебимо верила в то, что мы состоимся, не пропускала ни моей, ни Лёниной премьеры, ходила на все наши творческие

вечера. Последние годы жизни очень страдала от болей в коленях и пояснице. Но даже если ноги отказывали совсем, она принимала десяток каких-то атомных таблеток, надевала самые роскошные платья, вешала на себя все лучшие украшения и, гордая и счастливая, сидела в зале, радуясь каждому нашему успеху. Её великая, безграничная уверенность в том, что мы всё можем, всё умеем, всего достигнем – переливалась в нас и давала крылья, чтобы летать.

ХОРОШИЙ МОЙ ПАПА

Папа был более земным человеком. Свою трудовую деятельность он начал в одиннадцать лет: дед служил садовником в имении графа Давыдова и всех своих сыновей (У него их было пятеро, плюс три дочери) с детства приобщил к своему делу. Отец образования не получил. Но, имея большой практический опыт, стал специалистом высокого класса: фрукты, овощи, варения, маринады, соки, компоты... Работал на кондитерских фабриках, винзаводах, приглашался на самые ответственные экспертизы. Хорошо зарабатывал. Мечтал, что кто-нибудь из нас пойдёт по его стопам. Когда я начал кропать стихи, он махнул на меня рукой и все надежды перенёс на Лёню: тот был толстым мальчиком и очень любил покушать. Папа стал брать его с собой на фабрики, в совхозы... Лёня там с удовольствием ел, пил, опять ел – так продолжалось до тех пор, пока он не поступил в драмкружок, стал читать Станиславского, и папа понял, что оба сына потеряны для его профессии. Он лучше мамы знал обратную сторону жизни, и для своих сыновей желал более реального занятия, чем литература и искусство. Но к его великому огорчению мы оба пошли именно по этому скользкому пути.



МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА

Отец очень переживал, что мы остались без профессий, волновался, на что мы будем жить. Особенную тревогу у него вызывал я, человек без регулярной зарплаты. Когда стали приходить первые гонорары, папа очень недоверчиво воспринимал их, считая случайными, и ожидал, что вот-вот они закончатся, и я пойду на панель. Когда гонорары стали регулярными, и немалыми, когда появились первые книги, пошли первые спектакли по моим пьесам, отец перестал вслух высказывать свои опасения, охотно посещал все мои премьеры и творческие вечера, стал приносить мои книжки в парк и хвастать ими перед друзьями-пенсионерами. Но затаённое чувство тревоги, что всё это в любой момент может прекратиться, не покидало его до самой смерти.

Папин отец, наш второй дед Бенцион, которого я не знал, держал своих детей в строгости и дисциплине. Папа считал, что так же надо воспитывать и нас, но при нашей маме ему это было трудно осуществлять. Но он старался. Когда я стал возвращаться домой после полуночи, он открывал мне дверь и встречал постоянной обвинительной фразой: «Я в твои годы мешки таскал!»

Однажды к нам в гости приехал его друг детства Лёва Лившиц. Он жил в Одессе, был истинным одесситом, общительным и остроумным, весёлым шалопаем и гулякой. Я с детства с нетерпением ждал его приездов и радовался тому ералашу, который он устраивал в нашем доме. Он называл меня Карапетом, вызывал на всевозможные состязания: мы

с ним боролись, боксировали, перебрасывались подушками. Он привозил всегда дорогие подарки, всевозможные вина, конфеты. Это был человек-праздник.

Когда Лёва в очередной раз приехал, мне было уже лет шестнадцать. Во время очередного шумного застолья он вышел в коридор покурить и поманил меня.

– Ну, что, Карапет, с девочками уже гуляешь? – я утвердительно кивнул. – Небось, возвращаешься поздно? – я опять кивнул. – Отец ругается?

– Да.

– Постарел Семён, постарел, забыл себя в молодости. Но ничего, мы ему напомним. – Он вытащил из паспорта старую, пожелтевшую фотографию, где мой юный папа, разделённый до пояса, держал на обеих руках двух полуобнажённых девиц, обнимающих его за шею. – Возьми, это тебе поможет, специально хранил.

После отъезда Лёвы я снова вернулся за полночь. Отец открыл дверь и встретил меня традиционной фразой.

– Я в твои годы мешки таскал!

– Знаю, какие ты мешки таскал, – ответил я и протянул ему привезенную фотографию.

Папа несколько секунд рассматривал её, потом, не отрывая взгляда, спросил:

– Лёвка дал?

– Да.

– Маме показывал?

– Нет.

Он продолжал грустно рассматривать фотографию.

– Какой парень был! – потом махнул рукой. – Чёрт с тобой, шляйся!

Так завершилась история о папиной трудовой молодости – больше он о мешках не упоминал, покорно следовал за мамой в кино, когда мне надо было попользоваться квартирой, приветливо принимал моих девушек (гостеприимство было у него в крови), выпивал с нами бокал вина и уходил в другую комнату, чтобы не мешать. И только однажды попросил:

– Не меняй их так часто. Приведи хотя бы два раза подряд одну и ту же – я хочу запомнить лицо.

Когда мне исполнилось восемнадцать, и я стал уже уголовно ответственным, отец посадил меня рядом и сказал:

– Если надо будет сделать аборт, не занимайся самодеятельностью – девочку могут покалечить, и ты будешь отвечать. *(Тогда абортыв были запрещены.)* Скажи мне, и я всё устрою. И ещё: если подцепишь какую-нибудь гадость, немедленно сообщи – я тебя отведу к опытному врачу.

– Папа, откуда ты так хорошо во всём этом разбираешься? – с подковыркой спросил я.

– Не твоё дело! – гордо ответил отец и рассмеялся.

Папа был очень привлекательным мужчиной европейской внешности: волнистые пепельного цвета волосы, серо-зелёные глаза с длинными ресницами, густые брови, красиво очерченный подбородок. Его неоднократно, прямо на ули-

це, останавливали разные киношники и предлагали отсняться то в роли французского революционера, то в роли английского дипломата. Однажды, из любопытства, он дал себя увести на киностудию, чтобы сделать пробу. Там на него накинулись помрежи, ассистенты, гримёры: напудрили, намазали волосы бриолином, наклеили усы, нацепили на шею огромное жабо... Перепуганный папа попросился на минутку в туалет и поспешно удрал, вместе с наклеенными усами.

Как я уже писал, он был неутомим в застольях, мог много выпить; зажав в зубах нож, зажигательно танцевал лезгинку; пел бесконечные кавказские частушки с одним и тем же философским припевом: «Больше любишь – меньше спишь, меньше любишь – больше спишь!» Папа нравился женщинам – вспоминаю, какие призывные взгляды бросали на него мамыны подруги. Не сомневаюсь, что у него были романы на стороне, но он вёл себя осторожно, как минёр, и мама никогда об этом не знала. Когда я женился, он дал мне завет:



ОНИ БЫЛИ КРАСИВОЙ ПАРОЙ

– Я уверен: у тебя будут другие женщины, я могу это понять. Но я тебе не прощу, если об этом узнает Майя – своих жён нельзя огорчать, особенно, таких любящих, как она. Запомни!

И я запомнил это на всю жизнь и вёл себя, согласно папиному завету.

И ещё ты учил меня: «Скажи человеку ласковое слово, похвали его – это же тебе ничего не стоит, а ему будет приятно, поддержит его, поднимет настроение. Не скупись на добрые слова – они к тебе вернуться». Но этот твой завет, папа, я не выполнял. Во мне жило какое-то идиотское убеждение, что мужчина не должен произносить ласковых слов, я считал это «сюсюканьем» и даже к маме, ты знаешь, как я её любил, я впервые обратился со словом «Мамочка» только за год до её ухода из жизни, когда она уже очень болела. А сколько ласковых слов я не додал моей Майе, которая так в них нуждалась и всё ждала, ждала!..



А ЭТО МЫ, ВСЕ ЧЕТВЕРО: ПАПА, МАМА, ЛЕНЯ И Я

УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВЫЕ МОИ. И УЧИТЕЛЯ

Атеперь я продолжу рассказ о своих школьных учителях. Больше всех я запомнил учителя русского языка и литературы Аарона Натановича Горовица. В то время большинство народа ходило в ватных телогрейках, в солдатских шинелях, в довоенных обносках. Купить было негде и не за что. Педагоги всегда получали мизерные ставки, а в те послевоенные годы они были настолько нищими, что церковные крысы рядом с ними могли бы считаться олигархами.

Помню «пижонский» туалет Аарона Натановича: телогрейка, обшитая серой шелковистой тканью и простроченная чёрными нитками (Очевидно, серых не достали).

Маленький, быстрый, темпераментный, он был очень робким человеком, безумно боялся нас, поэтому всячески старался казаться страшным. Он понимал: единственно, чем нас можно отвлечь от пакостей – это оценками. Поэтому, идя на урок, ещё в коридоре, громко и грозно кричал: «Идёт отвечать!»... Мы начинали быстро перелистывать учебники. Он вбегал в класс, открывал журнал и, не давая нам опомниться, снова выкрикивал: «Идёт отвечать!»... Делал качаловскую паузу, бросая суровые взгляды то на нас, то в журнал, то опять на нас, как бы решая, кого вызвать на за-

кланье. Мы продолжали лихорадочно шуршать страницами учебников. Он затягивал паузу, это был его звёздный час: «Идёт отвечать!»... Продержав класс в напряжении, он дал амнистию: «Ладно, сегодня никого не вызову, будем повторять пройденное». Раздавался дружный вздох облегчения и, в благодарность за «невызывание», мы сидели тихо и слушали его объяснения.

А преподавал он блестяще: сочно, эмоционально, заразительно. Я глубоко благодарен Аарону Натановичу, низко кланяюсь ему за то, что он дал мне необходимый запас грамотности, пробудил интерес к этому великому языку и привил любовь к этой великой литературе, настолько огромную любовь, что её не смогли ни убить, ни разрушить все последующие посредственные педагоги. (Может, это парадоксально, а может, наоборот, логично, но моими самыми яркими учителями, именно языков, украинского и русского, были евреи)

Прошедшая война стимулировала нашу подростковую агрессивность, часто возникали междоусобицы, разборки, драки. Начинались они в классе, а заканчивались за пределами школы – там происходили поединки, называемые «стукалками». Дерущихся окружало плотное кольцо наблюдателей, бой шёл до первой крови или до явного нокаута. Не раз я возвращался домой с подбитым глазом или опухшим носом. Между своими допускалось применение только кулаков, в драках с мальчишками из соседних дворов или улиц разре-

шалось всё: палки, пряжки, кастеты, а зачастую, и перочинные ножи. Жестокость вообще свойственна подросткам, а в нас она расцветала пышным цветом.

Вспоминаю преподавателя черчения, Аарона Исааковича (извините, опять еврей и опять – Аарон), тихого, доброго человека, пережившего Ленинградскую блокаду, с травмированной нервной системой, который вздрагивал при каждом неожиданном стуке или выкрике. Мы знали это и специально грохотали крышками парт у него за спиной. Он учил нас писать и чертить тушью, владеть циркулем и рейсфедером. Периодически мы должны были сдавать ему домашние работы, «форматки», за которые он ставил нам оценки. Помню, как мы сдавали «форматку А-5»: кто-то, кто умел, сделал её, показал и получил пятёрку. Тут же форматка перекечевала на заднюю парту, где фамилию автора стёрли и вписали новую фамилию. Владелец этой фамилии показал её Аарону Исааковичу, и он снова поставил пятёрку. Затем её таким же образом переделывали раз десять, показывали и получали оценки. Постепенно результаты стирания становились заметны, к концу урока на месте фамилии уже была дырка. Туда вклеили последнюю фамилию – это был Алик Розин, в дальнейшем довольно известный певец (он выступал под фамилией отчима – Рост.) Когда он предъявил Аарону Исааковичу эту обесчещенную форматку, тот долго крутил её в руках, вздыхал, кряхтел, но всё же поставил тройку. Алик спокойно и нагло потребовал: Я хочу пятёрку.

– Алик, я не могу поставить пятёрку – это не ваша форматка. Я вам поставил тройку только потому, чтоб у вас не было неприятностей.

Но Алик так же нагло и спокойно повторил:

– А я хочу пятёрку.

– Алик, я не могу вам её поставить.

– Если не поставите пятёрку, я выброшусь в окно.

– Алик, перестаньте так жутко шутить.

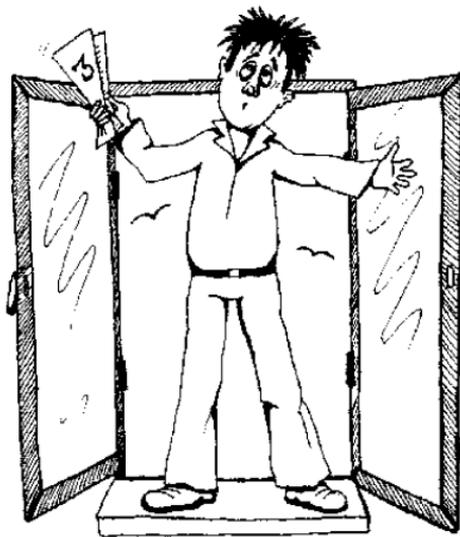
Наш класс находился на третьем этаже. Алик подошёл к открытому окну.

– Значит, не поставите? Ну, что ж, прощайте.

Перевалился через подоконник и исчез. На Аарона Исаковича было страшно смотреть: он побелел, руки его дрожали.

– Дети, зачем он это сделал?

– Из-за вас! Это вы его убили! – жестоко орали мы, маленькие садисты.



Аарон Исаакович на подгибающихся ногах добрался до окна, заглянул вниз – там никого не было. Мы хорошо знали этот трюк: под окном был довольно широкий карниз, по нему можно было пробраться за угол дома и там спрятаться, что Алик и проделал. Перегнувшись через подоконник, Аарон Исаакович долго смотрел вниз, потом повернулся к нам и прерывающимся голосом сообщил:

– Дети! Он разбился в пыль.

Тогда нас всех это очень веселило, сегодня мне безумно стыдно за наши поступки. Правда, не за все. Если педагог был вредным и противным, он получал по заслугам.

Помню учителя русского языка и литературы Никона Евстигнеевича Чекина. *(Это было в 54-й школе, следующей,*

куда я перешёл в десятом классе, и которая, поэтому, по традиции, тоже вскоре закрылась). Никон был раздражительным и занудным, и к тому же ещё и заикался. Он требовал, чтоб мы сидели строго в затылок друг другу, не опирались на спинки и, ни в коем случае, не носили шарфики – это его раздражало. Когда он впервые вошёл в класс и увидел одного из учеников с шарфом, обмотанным вокруг шеи, тут же потребовал:

– Н-н-немедленно с-с-нимите!

– У меня болит горло.

– А я г-г-говорю с-с-снимите!

– Мне доктор велел. У меня ангина.

– Ес-сли не с-с-снимите, я вас в-в-выгоню из к-класса!

Ученик отказался, и Никон выставил его за дверь. Но он даже не подозревал, на какую импровизацию нас вдохновил: на завтра, войдя в класс, он увидел, что у каждого ученика шея была обмотана шарфом. Все старательно кашляли и хрипели, все были «смертельно» простужены. Никон рассвирепел и стал сдирать с каждого шарф, с криком, с угрозами, со скандалом. Когда он дошёл до последнего, первые снова сидели с обмотанными шеями. Урок был сорван, пришёл директор, два часа нас держали после уроков, не отпускали домой, пытались выявить зачинщика, но это была обречённая затея: мы никогда друг друга не выдавали, стояли насмерть, как панфиловцы.

Однажды, войдя в класс, Никон услышал, как один из уче-

ников, Коля Высоцкий, сын потомственных русских интеллигентов, начитанный, эрудированный, но очень хулиганистый, громко сказал своему соседу по парте:



НИКОН НЕ ЛЮБИЛ
ШАРФИКИ

– Ты – поц!

Никон взвился от ярости.

– Высоцкий, в-в-встаньте! Это в-вы с-с-сказали поц?

– Нет.

– Но я же с-слышал!

– Вам показалось: я сказал пуц.

– Ч-ч-что т-такое пуц?

– Это имя моей собаки.

– Т-т-таких имён н-н-не бывает.

– Бывает. Моя собака – как хочу, так и называю.

– Да, да! – заорала сорокаглоточная группа поддержки. –

Мы знаем его собаку, это Пуц, Пуцик, Пуценька!..

– М-м-молчать!.. – Никон уже был на пределе. Его лицо стало красным, как задница павиана. – Вон из к-к-класса!

– За что? За Пуца?.. Не имеете права! – кричали мы.

– Это произвол! Я не стану из-за вас менять имя своей любимой собаки! – Коля искренне вошёл в роль. – Он был Пуц и будет Пуцем!

Дискуссия затянулась, ещё один урок был сорван. Но самый смешной конфликт с Никоном произошёл, когда в класс пришёл Алик Гимпель. Он вернулся из Германии, где служил его отец, и привёз массу штучек для розыгрышей, всякие «обливалки» и «пукалки», которые издавали неприличный звук, когда на них садились. И ещё он привёз бутафорский кошачий кал, поразительно похожий на подлинный, как бы ещё влажный, только-только произведенный. Это вызва-

ло массовый восторг, и немедленно возникла идея розыгрыша. Перед уроком Никона кал положили в угол и, как только он вошёл, все зажали пальцами носы, стали кричать «Ф-у-у-у!» и с отвращением указывать в угол. Никон обернулся, увидел, брезгливо сморщил лицо.

– К-кая г-г-гадость... К-к-кто это с-с-делал?

– Кошка приходила, кошка! – кричали мы хором. – Фу-у-у!.. Фу-у-у!..

– К-к-кто д-дежурный?

– Я, – поднялся Коля Высоцкий.

– Уб-б-брать! Н-н-немедленно!

Коля подошёл, нагнулся, скорчил гримасу отвращения:

– Не буду! Я за своим любимым Пуцем не убираю, а тут...

И решительно сел на место. Никон свирепел всё больше и больше.

– Староста! Есть староста? Немедленно уберите эту гадость!

Наш бессменный староста Витя Пахомов, большой, высокий увалень, проделал.

Колин маршрут, тоже нагнулся и тоже с отвращением отказался.

– Не могу, противно.

– А я г-г-говую уб-б-брать!

– А я говорю: противно.

– Ф-у-у! Ф-у-у! – зажав носы, продолжали скандировать мы.

Никон выругался сквозь зубы, швырнул портфель на стол и стремительно направился к двери, за директором.

– Подождите, Никон Евстигнеевич, – остановил его Алик Гимпель. – Я уберу.

Он нагнулся, поднял голыми пальцами этот «кал», положил его во внутренний карман пиджака, хлопнул по карману ладонью и сел на место. У обалдевшего Никона отвалилась нижняя челюсть, а мы продолжали орать «Фу-у-у!», но теперь уже указывая на Алика. Коля Высоцкий поднял руку, призывая к тишине. Мы с интересом замолчали, ожидая его новой выходки.

– Никон Евстигнеевич, – ласково произнёс он, – а я ведь расслышал: когда вы ругались, вы сказали «поц», но я об этом никому не расскажу, потому что это очень нехорошее слово.

Прозвучавший звонок спас Никона от продолжения дискуссии, он пулей вылетел из класса и через месяц перевёлся в другую школу.

Ещё у нас была преподаватель истории Анна Петровна, тупая, закомплексованная большевичка, которая кроме «Истории партии» и постановлений съездов КПСС ничего не читала, а на уроках, открывая новую тему, не рассказывала, а бубнила по учебнику. Оценив уровень её знаний, мы разработали особую систему взаимоотношений: каждый по очереди, готовил вопрос по теме, но не поверхностный из учебника, а очень каверзный, из неофициальных подробностей.

Для этого приходилось прочитывать специальную литературу, архивы в библиотеках, мемуары, энциклопедии. Но каждый с радостью это делал, предвкушая результат. Стоило Анне Петровне войти в класс, её уже ждала поднятая рука:

– Когда я готовился к уроку, меня удивило высказывание Карла Маркса о французской революции в его ответе на письмо подруги его матери.

Услышав вопрос, наша «интеллектуалка» краснела, бледнела, бекала, мекала, но потом, понимая, что нас не проведёшь, сдавалась:

– Я давно читала эти письма, кое-что подзабыла – я перечитаю их и отвечу на следующем уроке.

Я даже не представляю, сколько ей пришлось переворочить архивов, чтобы добраться до этого письма. На следующем уроке она минут пятнадцать отвечала на прошлый вопрос и тут же получала новый, ещё более каверзный. Между нами шло соревнование по интеллектуальному садизму: кто задаст более трудный вопрос. Поскольку ребята были головастые, эрудированные, вопросы сыпались супер-экстра, они заставляли её сидеть в библиотеках, отыскивая ответы. Через некоторое время она отказалась от нашего класса, чего мы и добивались.

Каждого педагога мы наделяли прозвищами, или злыми или симпатичными, в зависимости от отношения к ним: Гусар, Бегемотик, Филя, Ароша, Бочка, Дебил, Сивилла... Прозвища, конечно, были и у нас, учеников: Кишка, Мумия,

Телёнок, Морда, Москаль, Тень, Сало, Юродивый... У меня было два прозвища: Парнелли, потому что я был черноволосым и итальянистым, и Рубильник – из-за моего большого носа. Парнелли – мне нравилось, а за Рубильник – я бил физиономии.

В 147-ю школу директором пришёл Урилов, бывший фронтовик, потерявший руку, но не потерявший диктаторских замашек старшины. Он требовал от нас строжайшей воинской дисциплины и беспрекословного повиновения. На переменах мы должны были чинно прохаживаться по коридорам, а на приветствия учителей отвечать чем-то вроде «Служу Советскому Союзу!» Естественно, конфликты между нами и солдафоном-директором были неизбежны.

И я, и Толя Дубинский, и Юра Смирнов-Несвицкий – все мы входили в комсомольский комитет школы. Я был бессменным культсектором, отвечал за организацию школьных вечеров. Готовясь к очередному праздничному вечеру, я предложил Юре Масенкису, тоже члену комитета, подготовить какое-то стихотворение. Юра был высоким, красивым, обладал мощным голосом и итальянской жестикуляцией, поэтому считался нашим штатным чтецом. (Откуда пошла его фамилия, мы докапывались долго и безуспешно. Моя бабушка никогда не могла правильно произнести Масенкис и называла его Стамескис.) Он предложил главу из поэмы Павла Антакольского, посвящённой сыну поэта, погибшему на войне. До сих пор помню заключительные строки этой поэ-

мы, пронзительные и кровоточащие:

*Прощай! Поезда не приходят оттуда.
Прощай! Самолёты туда не летают.
Прощай! Никакого не случится чуда,
А сны только снятся нам, снятся и тают.
Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту Землю, где столько лежит погребённых...
На этом кончается повесть о сыне.*

Стихи всем нам очень понравились, и Юра их репетировал в зале после уроков.

В это время шла компания «борьбы с космополитизмом». Каждый день во всех газетах, по радио, со всех трибун партия обличала поэтов, писателей, композиторов, историков, генетиков, кибернетиков – «безродных космополитов, поддавшихся тлетворному влиянию прогнившего Запада». Среди них упоминалась и фамилия Антакольского. Естественно, Урилов вызвал всех нас к себе в кабинет и заявил, что запрещает нам пропагандировать творчество космополита. Мы попытались убедить его, что это прекрасные стихи, но Урилов был непреклонен. Переглянувшись, мы перестали спорить, но на нашей тайной вечере было решено: всё равно читать. И на торжественном вечере, в переполненном зале, где были все старшие классы и их гости, я объявил выступление Юры Масенкиса, и он вышел и прочитал всю главу

с огромным успехом. Урилов был в ярости. Он заявил, что нас всех выгонят не только из комитета, но и из комсомола. И через день на всех этажах висели объявления о предстоящем комсомольском собрании, где будут рассмотрены личные дела Александра Каневского, Юрия Смирнова-Несвицкого, Юрия Масенкиса и Анатолия Дубинского.

Но мы предвидели его реакцию и за неделю до скандала написали коллективное письмо в «Литературную газету» и попросили их помощи.

Наступил день собрания. Торжествующий Урилов, не скрывая восторга, истекал слюной в предвкушении нашего позора. И именно в это утро, идя в школу, Юра Смирнов-Несвицкий вынул из почтового ящика письмо – ответ из «Литературной газеты» (мы дали его обратный адрес). Письмо было потрясающее, приблизительно такого содержания:

«Редакция газеты очень удивлена поведением директора вашей школы, который запретил вам читать стихи Павла Антакольского, известного, талантливого поэта, лауреата Сталинской премии.

Действительно, в постановлении партии и правительства ему указали на ряд недостатков и просчётов, но это ни в коем случае не перечёркивает всего творчества этого выдающегося писателя, а тем более, его великолепную поэму «Сын», за которую он и был удостоен Сталинской премии. Запрещая читать это произведение, директор вашей школы демонстрирует плохое знание литературы и непонимание политики на-

шей партии. Уверены, что вам удастся отстоять свои позиции. С пожеланием успеха, от имени редакции, главный редактор – Константин Симонов».

Это был сокрушительный удар по Урилову: «Литературка» в то время была одной из самых популярных газет, а Константин Симонов – любимым, известнейшим поэтом, секретарём Союза писателей СССР, членом ЦК, лауреатом бесчисленных сталинских премий. Примчавшись в школу за полчаса до начала занятий, Юра зачитал это письмо, и весь класс с восторгом стал его переписывать. Конечно, Урилов немедленно узнал об этом и послал на разведку своего верного «еврея при губернаторе» завуча Прицкера. Тот вошёл в класс и вкрадчиво спросил у Смирнова-Несвицкого:

– Юрочка, говорят, вы получили какое-то интересное письмо?

– Очень интересное, особенно для нашего директора, – ответил «злой мальчик» Юрочка.

– А можно его почитать?

– Только копию.

– Вы мне не доверяете?

– Конечно, нет.

– Обидно это слышать, но... Ладно, давайте копию.

Несколько рук злорадно протянули ему исписанные листки. Он взял один из них, пробежал глазами.

– Можно его взять с собой?

– Нет, – ответил владелец листка (это был Коля Высоц-

кий), – если Урилову интересно, пусть придёт к нам и тоже перепишет.

Прицкер возвёл глаза к небу и развёл руками, выражая обиду и потрясение от услышанного, и, оскорблённый, удалился. Через десять минут нас всех, меня, Толю и двух Юр, вызвали к директору. Нас встретил улыбающийся Урилов. Его улыбка была такой сладкой, что её хотелось немедленно растворить в чае. Он обнял нас за плечи, подвёл к дивану, усадил, сел рядышком и заговорил, точнее, зажурчал. Не смогу процитировать его дословно, но помню содержание: Мы – молодцы, настоящие мужчины, умеем бороться за свои убеждения. А он честно, по-солдатски признаётся: чего-то недопонял, недоучёл, поэтому – погорячился. Спасибо, что помогли разобраться. Он гордится нами и верит в наше светлое будущее.

– А как же комсомольское собрание? – напомнили мы.

– Какое собрание!?! – Урилов театрально сорвал со стены очередное объявление с нашими фамилиями и разорвал его надвое. Игриво глянул на нас потом на Прицкера. – Надеюсь, наш завуч со мной согласен?

– Конечно! – верноподданный Прицкер сложил две половины разорванного объявления и так же театрально, по-директорски, разорвал их на четыре части.

Урилов вышел с нами в коридор и проводил до дверей класса:

– Идите и продолжайте работать с комсомольским огонь-

ком!

Конечно, он не простил своего поражения, его отношение к нам становилось всё более враждебным. А я ещё добавил масла в огонь: сочинил анти-уриловскую песню. В Киеве была (думаю, есть и сегодня) психиатрическая Кирилловская больница, которую называли Кирилловка. Так вот, я назвал нашу школу «Уриловка» и сочинил песню про бедных психов, которых лечит однорукий главврач с помощью Шприцера. Эта песня, которую хором пели на переменках, явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего «главврача». Он вызвал мою маму, предупредил, что мне грозит тройка по поведению, но если она переведёт меня в другую школу, то мне дадут похвальную грамоту... и так далее, как и в предыдущих школах. Конечно, мама согласилась и перевела меня, как я уже писал, в школу номер пятьдесят четыре, куда вслед за мной ушёл и Юра Шостак и ещё один мой одноклассник Валя Чащин. Это была моя последняя школьная обитель, и в ней я окончил десятый класс.

ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

До сих пор я безмерно благодарен всем своим школам за то, что они подарили мне много замечательных однокашников, которые навсегда вошли в мою жизнь и наполнили её теплом и доброжелательством. Особенно я благодарен судьбе за многолетнюю дружбу с Толей Дубинским, Юрой Шостаком и Юрой Смирнов-Несвицким.

Начну с Толиных родителей. Его мама, Людмила Михайловна, русская красавица, и папа, Яков Петрович, маленький, некрасивый еврей, очень любили друг друга. Она была добра и обаятельна, а он – потрясающе умён и беспредельно остроумен, обладал энциклопедическими знаниями. С ним можно было беседовать на любую тему, от кибернетики до сексопатологии, причём эти беседы он сопровождал таким количеством острот и смешных воспоминаний, что мы беспрерывно хохотали.

Наши квартиры находились недалеко друг от друга, их называли «штабными», потому что нам всегда разрешали там собираться, танцевать, посидеть за накрытым столом.

Толя взял всё лучшее от своих родителей: был высок и обаятелен, как мама, и умён и остроумен, как папа.

Однажды в параллельный 8-й «А», где учился Толя, по-

ступил Юра Шостак, высокий, сильный, широкоплечий. Уже тогда он крепко выпивал. Влив в себя два стакана водки (мог и больше), Юра искал возможность подраться и всегда её находил. Причём, вступал в драку сразу с двумя, а то и тремя противниками, одного ему было мало – из него пёрла сила и её надо было реализовать. Юра рос в семье украинских партийных деятелей: отец – заведовал сектором ЦК (в дальнейшем – секретарь обкома города Ровно), мать была директором школы. В семье росло трое детей: кроме Юры, ещё сын и дочь. У вечно занятых родителей на детей времени не хватало. Юра был мало контактен, грубоват, резок, вспыльчив. Моё сближение с ним началось через Толю: они оба увлекались ручным мячом, вместе ходили на тренировки. Потом Толя стал втягивать Юру в нашу компанию. На вечеринках Юра был хмур, неприветлив, не разговорчив, молча вливал в себя рюмку за рюмкой. Но если вдруг появлялась девушка, которая ему приглянулась, сразу преображался: становился красноречивым, обаятельным, остроумным. Мы с Толей сначала поражались такому резкому контрастному переходу, но потом поняли, что в этот момент сперма ударяет ему в голову и промывает мозги.



ТРИ БОГАТЫРЯ: ТОЛЯ, ЮРА И Я

Юра был железобетонно бескомпромиссен: если ему кто-то не понравился, переубедить его потом было невозможно, он исключал этого человека из сферы общения, в упор не видел его, не контактил. Но если кого-то полюбил, то это уже было от всей души, надолго, навсегда. Потом, когда я его узнал ближе, я понял, что при внешней резкости и замкнутости, это был тонко чувствующий и легко ранимый человек. Он любил бывать у меня и у Толи, его притягивала тёплая обстановка в наших домах, наши доверительно-дружеские отношения с родителями – наверное, этого ему не хватало.

Постепенно Юра становился мне всё ближе и ближе, я оценил в нём его надёжность, его искреннюю привязанность ко мне и к моей семье. Прошло немного времени, и Юра Шостак незаметно вошёл в мою душу и в мою жизнь – мы стали неразлучной тройкой.

Потом появился Юра Смирнов-Несвицкий: его отец, генерал-лейтенант, был переведен из Тбилиси в Киев начальником инженерных войск Киевского округа. Юра был невысокого роста, коренастый, с огромной копной нечесаных волос. Волосы были цвета пыли, поэтому к нему тут же прилипла кличка «Пыльная голова». Своим эксцентричным, неординарным поведением Юра вызывал удивление и раздражение окружающих. Но девочкам он нравился, они называли его Печориным. После очередной вечеринки он мог выйти на проезжую часть, бросить шапку наземь и танцевать вокруг

неё лезгинку, не обращая внимания на снующие машины; или остановить такси, открыть дверцу и с самым серьёзным видом требовать от шофёра ответа на вопрос: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?»

Маяковского он боготворил, на всех школьных вечерах запойно читал его стихи, поэмы, пьесы. Знал наизусть буквально все произведения поэта. Однажды я объявил, что на предстоящем вечере Смирнов-Несвицкий будет читать любые стихи Маяковского по заказу зрителей. Мальчишки пришли с толстыми томами сочинений Владимира Владимировича, чтобы подловить Юру и уличить его в хвастовстве. Ему выкрикивали из зала названия самых неизвестных и забытых стихотворений, но Юра, не задумываясь, сразу выдавал строчку за строчкой, вызывая восхищённое удивление ребят и восторг влюблённых в него девочек. В дальнейшем он защитил диссертации по произведениям Маяковского, и кандидатскую, и докторскую, стал доктором искусствоведения, профессором, преподавал в Ленинградском институте театра, кино и музыки, считался одним из ведущих, нестандартно мыслящих критиков, создал свой оригинальный театр «Суббота» и много лет руководил им.

Юра с детства обожал эпатировать окружающих. Это свойство характера он пронёс сквозь годы. Например, уже в институте, собрал всю молодую богему Питера: своих однокурсников, молодых актёров, художников, поэтов (отца переехали в Ленинград, и Юра там закончил учёбу в школе и по-

ступил в институт). Пили, пели, целовались, читали стихи. В конце вечера Юра вошёл в гостиную в одних плавках, встал у стены и скомандовал: «Бросайте в меня кабачковую икру, форшмак, салаты – я хочу увековечить свой силуэт на этой стене». Подвыпившая компания с удовольствием откликнулась на этот призыв, его с радостью забросали всеми полужидкими продуктами и подливами – силуэт получился великолепный (представляю, как его перед возвращением папы-генерала дружно слизывали со стены).

В период нашей учёбы в десятом классе, в Киеве открылся коктейль-холл. Для того времени, когда велось гонение на всё западное: на джаз, на моду, на песни, открытие коктейль-холла было большим событием. От самих слов «коктейль» и «холл» веяло чем-то запретным – это привлекало, манило, и мы туда зачастили. Коктейли стоили относительно недорого, можно было себе позволить раза два в неделю заглянуть туда и заглотнуть через трубочку крепкую, или полукрепкую, или десертную смесь. Особенно нам нравился коктейль «Полёт»: рюмка водки с плавающим куриным желтком – сразу и выпивка и закуска.

Смирнов-Несвицкий в это время уже учился в Ленинграде. Он приехал к нам на каникулы и, сойдя с поезда, сразу спросил: «Есть ли в вашей провинции новые кабаки?» Мы гордо сообщили об открытии коктейль-холла.

– Туда и пойдём! – скомандовал Юра. – Отметим мой приезд.

– Увы, наши стипендии давно потрачены.

– У меня есть деньги, мне дали на все каникулы – вот мы их там и пропьём.

Конечно, мы охотно откликнулись на это гусарское предложение. Приехали. Сели за столик. Подошёл официант.

– Что будем заказывать?

– Меню! – потребовал Юра.

Официант указал ему на лежащий на столе перечень коктейлей.

– Вот и принесите!

– Что именно?

– Меню! – повторил Юра. Потом, видя недоумение официанта, разъяснил. – Всё меню. Всё, что там есть, все коктейли.

Официант был ошарашен.

– Но там около шестидесяти названий.

– Вот и принесите их все, по одному!

Когда ошалевший официант ушёл выполнять заказ, Юра весело подмигнул нам:

– Будут помнить заморского гостя! – Он был счастлив, он опять эпатировал публику.

Через десять минут появились три официанта с тремя подносами, на которых стояли все имеющиеся в меню коктейли. С любопытством поглядывая на нас, они их расставляли на столе. Юра придержал нашего официанта:

– У меня к вам просьба: когда мы начнём пить, объявляй-

те название каждого из коктейлей – я вам за это отдельно заплачу.

Выстроившаяся на столе армия напитков требовала особого ритма – мы отбросили трубочки, чокались и одновременно опрокидывали четыре коктейля в четыре глотки. Стоящий рядом официант, как конферансье, объявляющий выход артистов, выкрикивал:

– «Полёт», «Салют», «Браво», «Подснежник», «Одуванчик», «Попугай»...

На «Попугае» я отключился: нас было четверо, мы выпили по пятнадцать коктейлей каждый, получилось совершенно адское пойло, смесь смесей. Более сильного опьянения я никогда в жизни не испытывал. Последнее, что помнил: официанты стащили нас вниз по лестнице к выходу и вывели на улицу. Мы стояли, прислонившись к зданию, держась за стену.

– Хорррошо пссидели! – вытолкнул из себя наш «заморский гость» и опустился на тротуар. Мы сели рядом. Прохожие переступали через наши вытянутые ноги. Кто-то бросил нам двадцать копеек. Встреча явно удалась!

Вообще, это было время увлечения ресторанами. Они были доступны: имея пять рублей, можно было провести там вечер, причём, не одному, а даже с девушкой.

Ресторанов было мало, попасть туда – трудно, но нас уже знали все швейцары и официанты, и мы всегда проникали сквозь любую толпу, минуя типичное для того времени объ-

явление: «Свободных мест нет». (Эту фразу высекали на металле или на мраморе. Я убеждён, что сначала устанавливали такое объявление, и лишь потом вокруг него строили гостиницу или ресторан.)

Даже если у нас было только по троячке на каждого, мы уверенно шли в любой ресторан, заказывали по рюмке водки или по бокалу вина, брали закуску, осматривались, фиксировали столы, за которыми сидели красивые девушки, приглашали их танцевать, назначали свидания, иногда просто выдёргивали их из компании и уводили с собой. Естественно, это нередко заканчивалось драками, но драки тоже входили в программу развлечений. Много весёлых и не очень весёлых воспоминаний связано у меня с посещениями ресторанов – поделюсь одним из них.

Как я уже писал, Юра Шостак был высоким, раскачанным, с широченными плечами. Но к большим плечам Бог дал ему в придачу большую попу, ну, не то, чтобы очень большую, но, скажем так: преувеличенную. На эту приманку активно клевали любители молоденьких мальчиков. Я уже в общих чертах обрисовал Юрин характер, поэтому можете себе представить, что получали эти охотники за Юриной задней девственностью!..

Но их попытки продолжались.

Однажды я, Юра и Толя пришли в ресторан «Динамо». К нам тут же подсел средних лет мужчина, назвавшийся Вадиком, с явно выраженной «голубой» внешностью. Он просто

млея рядом с Юрой, смотрел на него масляными глазками и всячески старался понравиться.

– Юрочка, что ты хочешь выпить?

Юра не успел ответить – за него это сделал я:

– Юра хочет водки!

– Это мы мигом! – «влюблённый» засуетился, подозвал официанта, заказал бутылку «Столичной».

– Юра хочет две бутылки, – уточнил Толя. И добавил, – Юра любит к водке икру.

– Сейчас будет икра! И салат «Оливье»! И бифштексы с кровью!..

– А мороженое? – обиженно подсказал я.

– Конечно! И мороженое, и кофе!..

– Юра любит с ликёром, – уточнил Толя.

– Сейчас, сейчас!..

Не дожидаясь официанта, Вадик побежал заказывать.

– Сволочи! Альфонсы! Сутенёры! – ругался Юра. Но мы жестко потребовали:

– Ради такого ужина – терпи!

Мы пили, ели, опять пили... Вадик вливал в Юру рюмку за рюмкой и, уверенный, что «клиент готов», стал обнимать его, сперва за плечи, а затем всё ниже и ниже, и периодически приглашал его в туалет. Юра напоминал Везувий перед извержением. Он сидел со сцепленными руками, сдерживаясь из последних сил, и только иногда цедил сквозь сжатые зубы: «Заканчивайте скорей, гады!». Рука Вадика уже опу-

стилась ниже Юриной талии.

– Ну, всё! – сжалились мы с Толей, – Юра наелся и напился, теперь ему надо в туалет.

– И мне, и мне! – выкрикнул Вадик, – Пойдём, Юра!

– Подожди. – Юра подозвал официанта, тот подал счёт, Вадик его оплатил. – А вот теперь пойдём, – угрожающе произнёс Юра, и они ушли.

Вернулся Юра один, чертыхаясь и отряхивая руки:

– Ненавижу собственную жопу!

– Не смей её ругать, – возмутился я. – Это наша кормилица!

Вадика мы больше не встречали. Никогда.



БРАТ МОЙ – ДРУГ МОЙ

Не могу не рассказать о моём двоюродном брате Роме, который был старше меня на два года; в детстве, в отрочестве – это большая дистанция. С шестнадцати лет уже ходили легенды о его амурных приключениях. Рома не был красавцем, но обладал магическим влиянием на женщин и был очень популярен среди сверстников. Как говорила наша бабушка: «Ромочка ложится в постель с женщиной сразу после слова «Здрасьте». Когда узнавали, что я его брат, изрекали: «А, ты брат Ромы? Значит, твой путь предопределён!».

Однажды летом мы, небольшой компанией нацелились на Кавказ. Разработали маршрут: сперва в Одессу, там ночуем и утром на теплоход. Когда были куплены билеты, я заказал междугородний разговор с Ромой (он тогда учился в одесском университете на юридическом факультете) и сообщил, что такого-то числа буду вечером в Одессе, и спросил, как с ним встретиться. Рома очень обыденно ответил:

– Спроси на Дерибасовской.

– Кого спросить? – удивился я.

– Кого-нибудь. Я всех предупрежу, они будут знать, где я.

Ответ насмешил моих попутчиков, они не поверили. Но я, зная Рому, всё-таки увлёл их на Дерибасовскую. Улица была заполнена гуляющими. Я подошёл к первой встреченной парочке и спросил:

– Простите, вы не знаете, где сейчас Рома?

Вопрос, конечно, был идиотский, но парень не удивился:

– Вы его брат, да?.. Он просил передать, что ждёт вас до девяти на Приморском бульваре...

– ...а после девяти – в ресторане гостиницы «Красная», – добавила девушка, – швейцар вас пропустит.

Мои ребята были потрясены:

– Невероятно! Неужели его действительно все знают?.. И как можно предупредить всю улицу?!

– Это – Рома! – гордо ответил я.



К моменту Роминого окончания университета декана юридического факультета перевели в Москву. Он любил Рома и правдами и неправдами вытащил его в столицу и устроил юрисконсультom в юридический отдел какого-то крупнейшего проектного института. Через полгода Рома стал руководителем юридического отдела, а через год – одним из заместителей директора. Я спросил его о секрете такой головокружительной карьеры. Он объяснил:

– Началось с того, что я не проиграл ни одного дела в суде, а это дало институту миллионы прибыли.

– Как тебе удалось только выигрывать?

– А я трахал судей.

– А если судья был женщиной?

– Я давал ему отвод. Если назначали следующего мужчину, снова отводил. До тех пор, пока не появлялась женщина. А там уже дело техники.

Это звучало хвастливо и неправдоподобно, но я ему верил, я знал, что там, где касалось его амурных походов, Рома никогда не врал: отношения с женщинами – это было святое, главное дело его жизни: его нельзя было унижать ложью.

Со временем он женился, стал отцом, но продолжал вести прежний образ жизни: возвращался домой ночью, пьяный, перепачканный помадой, а иногда вообще не ночевал. Жена, которая его боготворила, готова была прощать и мириться, но восстали тесть и теща. Тесть, занимающий какой-то очень

высокий пост, настоял на разводе и помог ему купить кооперативную квартиру, где Рома и зажил на полную мощность: лилась рекой водка, гуляли друзья и сменялись женщины.

С годами от такого образа жизни у него развилась сердечная недостаточность, сжималось сердце, не хватало воздуха. Однажды ночью случился приступ, его забрала «Скорая помощь», из лёгких откачивали жидкость. Узнав об этом, мы с Лёней на следующее утро поспешили к нему в больницу. В отделении я спросил у дежурного врача, где лежит Рома.

– Идите по коридору, услышите женский смех – он там.

Этот ориентир действительно привёл нас в его палату. Он лежал под капельницей, а рядом с ним сидели и три молоденькие медсестрички и хохотали.



В ПАЛАТЕ У РОМЫ

Когда мы остались одни, я решил провести душевную беседу.

– Рома, это первый сигнал, пора сбрасывать темп, потому

что...

– Стоп, стоп, стоп! – прервал меня Рома. Он был ещё очень слаб, произносил слова тихо, но внятно. – Когда мне это говорят папа и мама, я делаю вид, что слушаю. Но от тебя я этого слышать не хочу.

– Почему?

– Потому что ты-то понимаешь, что я иначе жить не могу. Перейти на молоко и кефирчик? Совершать прогулки перед сном?..

– Но иначе ты умрёшь!

– Умру. Но умру так, как жил: после застолья с друзьями, в постели с красивой женщиной, а ещё лучше – на ней!

Так и произошло. После весёлой гулянки, во время любовных объятий, ему стало плохо, и его очередная подруга вызвала «Скорую». Спасти его не удалось – он умер в сорок шесть лет. На его похороны слетелись все его однокурсники – из Одессы, из Киева, из Батуми, сняли зал в ресторане, весь вечер заказывали оркестру Ромины любимые песни, пили за его упокой и плакали, плакали, плакали.

Но даже после смерти Рома сумел ещё раз всех удивить: на следующий день после похорон к его родителям пришла женщина и объявила: я – жена Ромы. Её приняли за авантюристку, но она показала брачное свидетельство.

– Мы расписались за месяц до его смерти.

– Кто вы? Откуда? – родители были ошеломлены.

– Я приехала в Москву из Свердловска, у меня маленькая

дочь, её отец бросил нас и скрылся. Я без прописки, мыкаюсь по съёмным квартирам, работаю на двух работах, чтобы как-то существовать. Я устала, измучилась. Рома пожалел меня. Он сказал: «Скоро у тебя будет своя квартира» и предложил расписаться. Он предчувствовал, что умрёт.

– Вы были его любовницей?

– Нет. Честное слово!.. Я бы с радостью, но он не захотел. Он сказал: я просто хочу тебе помочь. Я знаю, вы можете не согласиться, у вас есть право опротестовать...

– Вы получите эту квартиру, – сказал дядя Лёня, Ромин отец. – Раз это его последняя воля – вы её получите.

Женщина разрыдалась и сделала попытку поцеловать дяде Лёне руку. Он одёрнул её.

– Зачем вы так? Зачем?.. Это не я, это – Ромочка.

Он похоронен в Москве. Я даже не знаю, на каком кладбище – я ни разу не навесил его могилу. Если б ты знал, как мне сегодня стыдно! Прости меня, Рома, прости! Когда мы встретимся, я буду выпрашивать у тебя прощения!

КАК НА ЧЬИ-ТО ИМЕНИНЫ ИСПЕКЛИ МЫ КАРАВАЙ

Рома был очень близким мне человеком. Сдружившись в эвакуации, мы продолжали дружить до его последнего дня, мы, три брата: он, я и Лёня. И была у нас ещё Света, Ромина родная сестра, наша с Леней – двоюродная. Я отставал от Ромы на два года, Света была младше меня на год, Лёня был самым маленьким. Мы шутили, что всю красоту, выделенную на нас четверых, и всю скромность – Бог отдал Свете. Она действительно с детства была очень красива, обаятельна, скромна и застенчива. Рома учился в Одессе, мы оставались тогда в Киеве, виделись почти каждый день. Начиная с девятого класса, вся моя компания вела усиленный поиск новых девочек: на вечерах, в компаниях, на демонстрациях. В компании мы являлись званными и не званными. Например, услышав, что Света собирается на день рождения к своей однокласснице, я поинтересовался:

- Как её зовут?
- Таня.
- К ней придёт много девчонок?
- Приглашены десять, но, наверное, ещё будут.
- Дай мне её адрес, мы тоже придём.
- Она вас не приглашала.

– Потому что не знает. А знала бы – пригласила!

– Ни за что не дам! Вы напьётесь и устроите драку.

– Во-первых, обещаю, что этого не будет, а во-вторых, сделаем вид, что мы с тобой не знакомы и ты ни за что не отвечаешь.

После долгих усилий, обещаний и клятв вести себя паиньками, я выжимал из неё адрес и сообщал его своей банде. Мы начинали готовиться, добывать подарки. Поскольку дни рождений случались довольно часто, а денег у нас было довольно мало, то есть, просто не было, в ход шли всяческие уловки: утюгом разглаживали старые книжки и называли их новыми; в аптеках покупали за копейки разные эликсиры, от зубного до желудочного, потом выпрашивали у аптекарей старые флаконы от духов и переклеивали этикетки на эликсиры, превращая их в духи «Ландыш» или в одеколон «Сирень»; потом купили несколько бутылок пива, отмочили и отклеили названия, оставили бутылки голыми, но зато горлышко каждой из них обернули серебряной фольгой от мороженого, которую я вытащил из урны. Бутылки стали очень нарядными, мы назвали их «Болгарское шампанское» (тогда всё болгарское было популярно), и перед тем, как открыть, я тряс каждую бутылку до тех пор, пока из неё не выстреливала пена в таком количестве, что уже разобрать вкус было невозможно.



МАМА СО СВЕТОЙ

Когда мы направлялись на день рождения, встретили Мишу Вильфа (в дальнейшем, знаменитого артиста, известного как Михаил Волков).

– Вот, купил, – похвастался он, показывая гантели, которые нёс в руках, – буду качаться.

– Хочешь с нами на день рождения?

– Хочу. Но у меня нет подарка.

– А гантели?

Так и пошли: мы – со «старо-новыми» книжками, с оде-

колонами, в девичестве – эликсирами, с «болгарским» шампанским, а Миша – с пятикилограммовыми гантелями. Нашли дом, поднялись по лестнице.

– Кто сегодня Матросов? – спросил я.

– Ты! Твоя инициатива!

Я позвонил. Дверь открылась, в передней стояли две девочки в нарядных платьях. Теперь надо было определить, кто из них виновница торжества.

– Здравствуйте, Танечка, – произнёс я, обращаясь куда-то между ними.

– Здравствуйте, – удивлённо ответила стоящая слева. Ура! Теперь я знаю, кого надо охмурять. – Танюша! Поздравляю вас с днём рождения, желаю, чтоб вы всегда были так же красивы, чтобы ваш день рождения стал праздником пролетариев всех стран и чтоб они, наконец, соединились!

Девочки заулыбались. Из гостиной вышла мама.

– О, ещё гость!.. Проходите, пожалуйста!

– Спасибо. Но я не один. Танюшу пришли поздравить остальные её друзья. Заходите, ребята!

И один за другим вошла вся команда самозванцев, поочередно представляясь и вручая свои «подарки»:

– Юра.

– Толя.

– Ещё Юра.

– Миша.

Естественно, у мамы был лёгкий шок, но в Киеве люди го-

степриимны и нас позвали к столу, придвинули ещё стулья, поставили новые приборы.

– Почему ты не предупредила, что будут ещё гости? – тихо спросила мама у Тани. – Кто они?

– Я не знаю.

– Ой, Таня! Ой, Таня! – мама игриво погрозила ей пальцем.

Первое, что я увидел, садясь за стол, это перепуганную Свету, не отрывающую взгляд от тарелки. Но я сдержал слово и никак не отреагировал на неё. Больше того, когда нас представляли друг другу, переспросил:

– Как? Как вас зовут? Светлана? Красивое имя, оно вам очень подходит.

У моей сестрички от ужаса дрожали пальцы, но никто этого не заметил. Через десять минут мы, как всегда, взяли стол в свои руки: я и Толя произносили умные тосты, Юра Смирнов-Несвицкий читал стихи, Миша Вильф пел песни, а Юра Шостак покорял маму именинницы, которая была молода, привлекательна и очень ему понравилась, поэтому он фонтировал обаянием.

Кроме того, параллельно, без специальных усилий, я влюблял в себя бабушку, потому что поглощал все приготовленные ею блюда с восторгом и в больших количествах, только успевая приговаривать: «Кто? Кто это приготовил? Покажите мне автора!». Бабушка млела от удовольствия и подкладывала мне новые порции. (Благодаря своему аппети-

ту я был любимцем всех бабушек на всех днях рождения.)

Когда мы уходили от Тани, то долго прощались и с ней, и с мамой, и с бабушкой. Нас звали приходить ещё, мы обещали, и потом многократно выполняли своё обещание.

– Какие мальчики! – восхищалась мама. – А ты притворялась, что их не знаешь... Ой, Танька, ты, оказывается, актриса!

Естественно, мои ребята разобрали всех самых красивых Таниных подруг и провожали их по домам. А я проводил свою «новую знакомую» Свету, которая теперь, уже уверенная в нашем успехе, смело дала мне новые даты и адреса следующих именинниц.

МУСТАНГЕРЫ НА КРЕЩАТИКЕ

Главным местом встреч и прогулок был Крещатик. Одна сторона называлась Бродвей, другая – Гапкинштрассе. Каждый вечер мы собирались на Бродвее, на углу улицы Ленина и Крещатика, у центрального универмага. Там делились информацией, выясняли отношения и отчитывались о вчерашних приключениях. На этом углу всегда дежурила группа старых, прославленных блядунов, которые уже сошли с дистанции, но не могли выйти из тусовки. Они натаскивали нас, начинающих, желторотых, проводили инструктаж, учили, как надо «цеплять» девушек на улице, как вести себя с первых минут знакомства до постели, иллюстрируя всё это примерами из своей практики. Мы внимали, впитывали, учились. Они даже провели специальное соревнование – «Конкурс мустангеров», выявляя самых умелых «ловцов». Конкурс проводился в три тура. Первый – познакомиться с девушкой, идущей по улице. Второй – познакомиться с девушкой, когда она гуляет с подругами. И третий, самый трудный – познакомиться с девушкой, когда она прогуливается с парнем. На третий тур разрешалось идти вдвоём: один отвлекал парня, другой – всучивал его даме свой номер телефона или умудрялся получить её номер. Там же на Крещатике торжественно вручали призы победителям конкурса: бутылки водки с надетыми на горлышко презервативами. Это

была уникальная школа передачи опыта, школа, выпускающая высоких профессионалов.

Теперь о нескольких выпускниках этой школы.

Начну с Олега Востокова, который был живой легендой в Киеве. Его называли «придаток к своему члену». И размер этого органа, и его дееспособность были фантастическими. Олег в течение дня мог иметь от трёх до пяти женщин, причём, ему неважно было, красавицы или уродки, толстые или худые, молодые или пожилые. День его был заполнен: он ходил на вокзал, встречал поезда, знакомился с приехавшими женщинами, которых никто не встречал, предлагал им помочь с гостиницей и, имея всюду знакомства, добывал им номера, в которых их и «обслуживал». До сорока лет он вообще нигде не работал, его держали на содержании, вызывали в командировки в Сочи, в Крым, в Прибалтику. Причём, он не выглядел альфонсом или ловеласом, наоборот – худощавый, со втянутыми щеками, – у него было лицо интеллектуала, измождённое от сидения по ночам за диссертацией. Его внешность внушала доверие не только девушкам, но и их родителям. Однажды я встретил Олега, гуляющего под ручку с молоденькой девчушкой, сзади шли её папа и мама. Они приехали из Минска показать дочери столицу Украины. Я немного прошёлся с ними.

– Меня предупреждали, что в Киеве очень опасные мальчишки, – откровенничал со мной папа, – а наша Виточка такая наивная. Поэтому я очень рад, что она сразу познакомилась

с Олегом – теперь я за неё спокоен.

– И я тоже, – подумал я.

Олег обожал жениться. Его свадьбы следовали чередой, одна за другой, шумные и весёлые. Женившись, он продолжал свой образ жизни неугомонного мустангера, жёны не выдерживали, следовали разводы, а за ними – новые свадьбы.

Где-то на пятой или шестой свадьбе я предупредил:

– Олег, это последняя, на которую я прихожу. Я устал повторять тосты о счастливой жизни, меняя имена невест.

Лет в пятьдесят Олег женился на женщине намного младше его и прожил с ней до сего времени в мире и согласии. Женщина оказалась крепкой, ей удалось обуздать этого неугомонного жеребца, и вместо легендарных загулов ему пришлось довольствоваться стандартными «леваками».



ПОСЛЕ
БОРИНОГО
УДАРА

Вспоминаю Борю Битлера, который жил на Подоле, но каждый вечер приходил на Крещатик, как на работу. Мускулистый, спортивный, он прямо с места легко крутил сальто. Половина его зубов была выбита в драках, которые он обожал. На Крещатик он приходил в поисках новых драк.

– Боря, наших бьют! – подбежали к нему какие-то незнакомые пацаны лет тринадцати-четырнадцати.

– Кого это – «наших»? – интересовались мы.

– Неважно, – отмахивался Боря и в глазах у него загорался хищный блеск. – Где бьют?

Пока мы бегом направлялись к месту происшествия, он предупреждал:

– Никто не вмешивается. Это – моя драка!

Он не ведал страха. Смело направлялся к кучке хулиганов, сколько б их не было, трое или пятеро. Главарь шайки вынимал бритву и предупреждал:

– Попишу!

Боря молча снимал с руки свои часы, протягивал их ему и просил:

– Пожалуйста, поддержи.

Тот растерянно брал часы, Боря бил его в челюсть, тот падал и продолжал лежать в нокауте. Боря забирал у лежащего свои часы, не преминув его похвалить:

– Ты хорошо держал. – Поворачивался к остальным. – Кто ещё хочет поддержать?

Желающих не было. Боря надевал часы на руку, и мы уходили, провожаемые восторженными взглядами пацанов. Он любил женщин, у него случались романы, но драки – это была его стихия.

Это было время, когда романтизировали культ силы, умение постоять за себя. Все мои сверстники тогда носили либо

пояса с тяжёлыми пряжками, либо свинчатки, которые надевались на руку, либо перочинные ножи. Мне подарили гибкую дубинку из кабеля с наборной рукояткой. Я без неё не выходил на улицу: наличие её в кармане придавало уверенность. Всего один раз я пустил её в ход, когда на меня замахнулись ножом: от удара моей дубинкой рука нападающего повисла, как тряпка – может быть, это спасло мне жизнь.

Олег искал женщин. Боря искал драки. Я искал приключения, которые включали в себя и женщин и драки. Вспоминая сейчас то время, прихожу в ужас: как легко было тогда получить ножом в живот или кастетом по черепу. А сколько раз я мог сам угодить в тюрьму, по глупости, из-за лихачества и пижонства!.. Снова и снова низко кланяюсь моему ангелу-хранителю за то, что он меня, дурака, уберёт от беды.

Про Колю Высоцкого я уже рассказывал: начитанный, эрудированный, получивший прекрасное воспитание, он с детства заходил в наш дом, очень любил моих родителей, особенно, маму. Однажды, когда он был вне Киева, на мамин день рождения принесли корзину цветов, заказанную им ещё до отъезда. И при всём при этом Коля был в какой-то воровской шайке. Но он не совершал краж – он их планировал. Его не раз забирали в милицию, держали день-два и отпускали за недоказанностью.

– Думаешь, я из-за денег? – объяснял он мне. – Это игра! Азарт! Вся милиция знает, что это моих рук дело, а доказать не могут. У них машины, пистолеты, собаки, а я – один, и я

их всех обвожу вокруг пальца.

– Но ты же понимаешь, что когда-нибудь тебя всё равно достанут.

– Не успеют: я наиграюсь и завяжу.

Однажды объявил: «Всё! Завязал!» Когда мы с ним гуляли по Владимирской Горке, к нему подошёл какой-то малоприятный тип:

– Коля, пахан предупредил: по тебе колун плачет.

Коля спокойно ответил:

– Я своего решения не меняю, так и передай.

Не знаю, как происходили их разборки, но у Коли на лице появился ещё один шрам, после чего его оставили в покое. Он прекрасно рисовал, собирался в архитектурный, но, когда судьба толкнула меня в автодорожный институт, тоже подал туда документы, чтобы нам быть вместе.

КАК Я ТЕРЯЛ НЕВИННОСТЬ

Где встречаться с девушками – это была проблема. Мы жили в коммунальных квартирах, своих комнат не было. Не все родители, как мои или Толины, были готовы освободить нам территорию по первому нашему призыву. Да и мы не могли этим злоупотреблять, у них тоже была своя жизнь: то приходили гости, то кто-то из них себя плохо чувствовал. Молодёжных кафе или клубов не было и в помине, в рестораны мы могли пробиться, но не всегда были деньги. Поэтому летом мы проводили время в парках на укромных скамейках или на неосвещённых детских площадках, а зимой – в тёплых подъездах. Все подъезды с батареями были на учёте. Поскольку их было не так много, а желающих – легион, то составлялся жёсткий график, к примеру: ты – с восьми до десяти, я – с десяти до двенадцати. Нарушителей предавали коллективной анафеме, поэтому график чётко соблюдался.

Из ресторанов мы предпочитали «Динамо». Он стоял на холме, на отшибе, и вокруг него был тёмный палисадник, куда можно было выводить уже разогретых девушек. Именно там и произошла моя первая близость с женщиной. Её звали Тоня, ей было под тридцать лет, а мне семнадцать. Она ужинала с подругой. Я пригласил её танцевать, потом мы пересели за их столик, ещё выпили, ещё танцевали. Почувствовав её встречное желание, я предложил ей выйти подышать

воздухом. Она согласилась. За ближайшими кустами мы повалились на траву. Оба страшно волновались: я – потому что это было в первый раз, она – опасаясь милиции или любопытных наблюдателей. Всё произошло торопливо, поспешно и, в завершение всего, в самый приятный момент меня укусил муравей, сразу сделав его менее приятным. Причём, укусил в такое место, которое ему могла подсказать только милиция – очевидно, он был у них внештатным агентом. Словом, особого удовольствия я тогда не получил, но застолбил право на дальнейшие отношения. Мы встречались несколько месяцев, у меня, у Толи, в парках, в подъездах. Она была опытна, многому меня научила, я освоил «технику», приобрёл уверенность в себе, что так необходимо каждому мужчине для начала интимных отношений – и за это я ей очень благодарен.

Следующие мои женщины мелькают в моей памяти, как в калейдоскопе:

Люда, пухлая, хорошенькая блондиночка из музучилища, с которой я встречался довольно долго, отрабатывая мастерство, полученное у Тони.

Зося, яркая брюнетка, с роскошной фигурой и патологической сексуальностью. Она просила меня, когда мы в компании, не смотреть на неё и не брать за руку – у неё кружилась голова и отключалось сознание. Когда мы только ещё «шли на дело», её уже била дрожь от предвкушения. В самые кульминационные моменты я закрывал ей рот подуш-

кой, чтобы от её воплей не сбежались соседи. На этом примере я понял, что такое биологическое совпадение – она не со всеми была так возбуждима, клялась, что с мужем, который в это время служил на флоте, она часто не достигала оргазма. На это жаловался и её бывший любовник, который нас и познакомил. Мне в это трудно было поверить. Она прибежала по первому моему зову, даже среди ночи, поджидала меня в моём подъезде, предлагала сберкнижку на предъявителя с солидной суммой, чтобы я женился на ней. Я понимал, что такая женщина – подарок для мужчины, но это в минуты близости. А что делать в антрактах? О чём говорить? «Кто, где, когда, кого и сколько раз?..» Весь её ум и вся эрудиция ушли, увы, не в голову, а в другое место, намного ниже.

Однажды мы с Юрой Шостаком пришли на вечер встречи выпускников школы № 54, которую три года назад окончили. На этот вечер, кроме выпускного десятого класса, были допущены и некоторые девятиклассники-отличники, в виде поощрения за хорошую успеваемость. После торжественной части всех пригласили в холл, за столики, на которых стояли лёгкие напитки и сладости. Мы были из первого выпуска, уже оканчивали институты и чувствовали на себе уважительные взгляды окружающих. Мне даже пришлось произнести короткое напутствие нынешним выпускникам.

– Старик, взгляни на соседний столик, где сидят девятиклассники, – негромко произнёс Юра. – Там хорошенькая девчушка так на тебя смотрит, что тебе будет с кем отсюда

уйти.

Я обернулся и увидел огромные синие испуганные глаза на детском лице. Она немедленно отвернулось, но я ещё несколько раз ловил её взгляд. Потом подошёл её одноклассник и, запинаясь, сообщил: «Одна девочка просит вас пригласить её на танец». И указал на неё. Зазвучало танго. Я подошёл к её столику. Она встала, побледневшая, испуганная, положила руки мне на плечи, прижалась и прошептала: «Мне уже надо быть дома, проводите меня, пожалуйста». Она жила недалеко, мы шли пешком, она рассказывала о себе. Я узнал, что её зовут Мила, что она единственный ребёнок в семье, где папа, мама, бабушка трясутся над ней, не позволяя нигде задерживаться. Когда подошли к её подъезду, она вдруг расплакалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.